

GILLES LIPOVETSKY

«ДАЛЬ»  
L'ÈRE  
DU VIDE

ESSAIS SUR L'INDIVIDUALISME  
CONTEMPORAIN

GALLIMARD

ЖИЛЬ ЛИПОВЕЦКИ

ЭРА  
ПУСТОТЫ  
ЭССЕ О СОВРЕМЕННОМ  
ИНДИВИДУАЛИЗМЕ

*Перевод с французского  
В. В. Кузнецова*



Санкт-Петербург  
«ВЛАДИМИР ДАЛЬ»  
2001

## МОДЕРНИЗМ И ПОСТМОДЕРНИЗМ

Появившееся за последние десять лет<sup>1</sup> среди художников и интеллектуалов и не избежавшее влияния моды бесспорно двусмысленное определение — постмодернизм — тем не менее вызывает у нас большой интерес благодаря трескучим фразам относительно абсолютной (в который раз) новизны и возврата (с оглядкой) к нашим истокам, к взгляду на наше прошлое, к глубокому изучению эпохи, которая отчасти заканчивается, но которая во многих отношениях продолжает свою работу и при этом не вызывает неудовольствия наивных апологетов, решительных борцов с минувшим. Если провозглашается новая эпоха в искусстве, науке и культуре, то появляется необходимость определить содержание предыдущего цикла, ведь новое подразумевает память о прошлом, знание хронологических вех и генеалогии.

Постмодернизм. Понятие это по меньшей мере неопределенно. Оно относится к уровням и таким областям исследования, которые подчас невозможно сопоставить. Истоциение гедонистической и авангардистской культуры или возникновение мощного новаторского движения? Закат эпохи, не имеющей традиций, или одухотворение настоящего посредством реабилитации

<sup>1</sup> Первое издание книги на французском языке относится к 1983 г. — *Примеч. пер.*

прошлого? Своего рода преемственность в модернистских рамках или же ее отсутствие? Эпизод в истории искусства или же глобальная участь демократических обществ? Мы не стали ограничивать постмодернизм системой региональных, эстетических, эпистемологических или культурных координат: если имеет место постмодернистская действительность, то это должно подразумевать возникновение глубокой, представляющей собой значительное явление социальной фазы. Действительно, мы живем в такое время, когда жесткие противоречия сглаживаются, когда перевес какого-то мнения затушевывается, когда для понимания настоящего момента требуются четкие корреляции и гомологии. Возвести постмодернизм в ранг глобальной гипотезы, называя его медленным и сложным движением к новому типу общества, культуры и личности, которое зарождается в том же лоне и является продолжением эпохи модерна, определить содержание модернизма, его генеалогические связи и основные исторические функции, задержать регресс логики, которая так или иначе действовала в течение XX века, ради превосходства все более подвергаемых критике гибких и открытых систем. Такова была наша цель и, пользуясь как нитью Ариадны анализами Даниела Белла, в последней работе которого, переведенной на французский<sup>1</sup> и обладающей несравненным достоинством, предлагается общая теория развития капитализма в свете модернизма и его наследия. Эта книга, в отличие от предшествующей<sup>2</sup> не нашла во Франции положительного

<sup>1</sup> Культурные противоречия капитализма / Пер. на фр. М. Матильон. П. У. Ф., 1979. В дальнейшем цифры в скобках обозначают страницы этой работы.

<sup>2</sup> «К постиндустриальному обществу» (Vers la société post-industrielle. Traduit par P. Andlier. Laffont, 1976).

отклика: несомненно, этот сдержанный прием вполне объясним в отношении работы неоконсерватора и пуританина. Более того, несмотря на небрежность построения, поспешность аргументации, подчас хаотичность анализов, во многих отношениях оригинальных, работа, несомненно, заслуживает пристального внимания. При всех ее недостатках книга вносит струю свежего воздуха, она рассматривает роль культуры и ее связь с экономикой и демократией, делает выводы из культуры обособившихся групп с ничтожной эрудицией, автор пытается разработать теорию, соединяющую искусство с образом жизни передового капиталистического общества. В свете раздробленности социологической науки в связи с постоянным сужением наших взглядов на современный мир следует более досконально изучить тезисы Даниела Белла, проследить за его взглядами, воззрениями хотя бы для того, чтобы отметить наши с ним разногласия.

### Антиномичная культура

Более ста лет капитализм раздираем глубоким, откровенным кризисом культуры, который можно обозначить одним словом — модернизм, представляющий собой новую художественную логику, основанную на распрях и перерывах в развитии, подчеркивающую отрицание традиций, культ новизны и перемены. Кодекс новизны и актуальности впервые находит свое теоретическое обоснование у Бодлера, для которого красота неотделима от современности, моды, случайности;<sup>1</sup> но лишь в период с 1880 по 1930 г. модернизм

приобретает широкий размах, сопровождаемый переворотом в классических методах изображения и появлением стиля, свободного от жестких ограничений и канонов, а затем — шумным появлением групп и отдельных художников-авангардистов. С той поры художники не перестают разрушать привычные формы и правила, встают против официального порядка и академизма: они испытывают ненависть к традициям и тягу к полнейшему обновлению. Несомненно, все великие художественные произведения прошлого всегда вносили что-то новое, критикуя устоявшиеся каноны и приемы, однако лишь в конце XX века перемены превращаются в бунт, явное нарушение исторической хронологии, разрыв связи между прошлым и будущим, утверждение совершенно иных порядков. Модернизм не довольствуется стилистическими вариантами и незнакомыми темами, он стремится разрушить преемственность, соединяющую нас с прошлым, создать совершенно новые произведения. Но самое замечательное — это то, что в своем рвении сторонники модернизма заодно сбрасывают с пьедесталов и самые современные работы: произведения авангарда, только что созданные, становятся арьергардом и чихнут с прилепленным к ним ярлыком «дежа вю»;<sup>1</sup> модернизм запрещает остановки, вынуждает непрерывно изобретать, бежать вперед. Имманентное «противоречие» модернизма таково: «Современность представляет собой своего рода творческое саморазрушение...», «Модернистское искусство не только дитя критического века, но и свой собственный критик».<sup>2</sup> Адорно высказал эту мысль иначе; модернизм определяется не столько декларациями и манифестами, утверждающи-

<sup>1</sup> О Бодлере и современности см.: Жосс А. Р. Об этике приемы (Jouss H. R. Pour une esthétique de la réception. Gallimard, 1978. P. 197—209).

<sup>1</sup> Уже виденное — фр.

<sup>2</sup> Паз О. Точка конвергенции (Paz O. Point de convergence. Gallimard, 1976. P. 16).

ми какие-то положения, сколько принципом отрицания,<sup>1</sup> не имеющего границ, и который, следовательно, не щадит самого себя: «традиция нового» (Г. Розенберг). Парадоксальна концепция модернизма, который разрушает и обесценивает то, что сам создает, новое тотчас переходит в разряд старого; отныне не одобряется никакое положительное содержание; единственный принцип, определяющий искусство — это различные формы изменения. Дольше совершенно неизвестное стало императивом, символом свободы художника.

Это динамическое противоречие творческого модернизма сменяется не менее противоречивой фазой, которая, однако, скучна и лишена всякой оригинальности. Модернистский механизм, который наглядным образом воплощается в авангарде, в настоящее время дышит на ладан, а по мнению Даниела Белла, это происходит с ним уже в течение полувека. Авангардисты топчутся на одном месте, поскольку неспособны создать в искусстве что-то большее и новое. Отрицание утратило свою творческую силу, художники совершают плагиат, лишь повторяя великие находки, сделанные в первой трети XX века. Мы вошли в период, называемый Д. Беллом постмодернизмом, фазу упадка художественного творчества, не имеющего под собой никакой опоры, кроме экстремистской эксплуатации модернистских принципов. Отсюда противоречие культуры, цель которой — непрестанно создавать абсолютно новое, и которая в процессе такого творчества производит нечто одинаковое, стереотипное, набившее оскомину. Тут Д. Белл разделяет суждение О. Паса, хотя и отодвигает момент кризиса: многие годы отрицания, свойственные искусству модерна, «представляют собой ритуальные повторы: бунт стал

<sup>1</sup> Агорно Т. В. Эстетическая теория (Adorno T. W. Théorie esthétique. Klincksieck, 1974. P. 35).

образом действия, критика — риторикой, нарушение норм — церемонией. Отрицание перестало быть актом творчества. Я не говорю, что мы наблюдаем конец искусства; мы переживаем конец *idei модернистского искусства*.<sup>1</sup> Тупиковый характер авангарда, который нельзя объяснить ни «загубленным ремеслом», ни «технологическим обществом»; культура нонсенса, крика, шума не соответствует процессу развития техники, даже если она имеет вид негативного отражения, не является воплощением мира техники, которая «сама по себе — ликвидатор всякого смысла». <sup>2</sup> Как справедливо отметил Д. Белл, в нашем обществе технико-экономические перемены не обуславливают изменения в сфере культуры, и постмодернизм не является отражением постиндустриального общества. Тулик, в котором оказался авангард, обусловлен модернизмом, сугубо индивидуалистской и оборонческой, по существу, самоубийственной культурой, которая утверждает лишь одну ценность — новизну. Постмодернистский маразм является результатом лишь гипертрофии культуры, ориентированной на отрицание всякой стабильности.

Модернизм — это не только бунт против самого себя, это одновременно мятеж против всех норм и ценностей буржуазного общества: «культурная революция» началась у нас еще в конце XIX века. Отнюдь не намереваясь воспроизводить ценности экономически доминирующего класса, художники-новаторы второй половины XIX века и XX века, вдохновляемые романтизмом, стала проповедовать ценности, основывающиеся на возвышении собственного «Я», на аутентичности и наслаждении, абсолютно чуждых

<sup>1</sup> Пас О. Цит. пр., с. 190.

<sup>2</sup> Элюль Ж. Империя нонсенса (Ellul J. L'Empire du non-sens. P.U.F., 1980. P. 96.).

ценностям буржуазии, в основе которых лежат труд, бережливость, умеренность, пуританство. От Бодлера до Рембо и Жарри, от В. Вульф до Джойса, от дадаистов до сюрреалистов все художники-новаторы направляют стрелы своей критики против условностей и общественных институтов, становятся ожесточенными ненавистниками буржуазного духа, презирая его культ денег и труда, его аскетизм и узкий рационализм. Жить с максимальным напряжением, «предаваться всяким чувствам», потакать своим желаниям и воображению, приобретать опыт разного рода — в этом состоит «модернистская культура, которая по сути представляет собой культ собственной личности. В центре ее — мое „Я“». Культ собственной неповторимости начался с Руссо» (с. 141) и продолжается романтизмом с его культом страстей. Однако, начиная со второй половины XIX века, процесс приобретает характер агонии; нормы буржуазной жизни становятся объектом все более злобных атак со стороны бунтующей богемы. При этом возникает неограниченный и гедонистический индивидуализм, воплощающий в жизнь то, чему купеческое сословие противилось: «Когда буржуазное общество провозгласило радикальный индивидуализм в сфере экономики и было готово покончить со всеми традиционными общественными отношениями, оно побоялось повторить опыт современного индивидуализма в области культуры» (с. 28). Хотя буржуазия произвела переворот в области производства и товарообмена, культурный строй, в рамках которого она развивалась, остался дисциплинарным, авторитарным, а если мы посмотрим на США, то совершенно пуританским. Именно эта протестантская и аскетическая мораль в первые годы XX века подвергнется нападкам со стороны художников-новаторов.

Однако с появлением массового потребления в США в 1920-е годы гедонизм, до этого бывший уделом незначительной части художников и интеллектуалов, станет их образом жизни. Именно там и кроется очаг великих культурных революций, поражающих современное общество. Что касается изменения условий жизни, то именно капитализм, а не модернизм художников станет главным творцом гедонистической культуры. При широком распространении товаров, до сего времени считавшихся предметами роскоши, благодаря рекламе, моде, СМИ и в особенности *системе кредитов*, появление которой подрывает принцип бережливости, пуританская мораль уступает гедонистическим ценностям, которые внушают обывателю желание тратить деньги, наслаждаться жизнью, потакать собственным капризам: «начиная с 1950-х годов американское и даже европейское общество интересуют главным образом потребление, развлечения и наслаждения. Самым мощным инструментом разрушения протестантской этики явилось приобретение товаров в рассрочку. Прежде для того, чтобы что-то купить, следовало сначала экономить, но с появлением кредитных карточек стало возможным тотчас же удовлетворять свои желания» (с. 31). Стиль современной жизни обусловлен не только изменениями чувствительности художников с их внезапными порывами эмоций, случившимися век с лишним назад, но, в еще большей степени — трансформацией, которую претерпел капитализм шестьдесят лет назад.

Таким образом, благодаря совместным усилиям модернизма и массового потребления появилась культура, в основе которой реализация собственного «Я», спонтанность и наслаждение: гедонизм становится «главным принципом» культуры, отныне открыто выступающей против экономической и политической логики. Такова главная мысль Д. Белла. Современное

общество расколото, оно более не имеет однородного характера и выступает как сложный конгломерат трех четко выраженных объединений — технико-экономической группы, политического режима и культуры, каждое из которых руководствуется совершенно иным принципом. Эти сферы «не находятся в точном соответствии между собой и повинуются различным ритмам изменений. Они руководствуются собственными нормами, которые определяют их разные и даже противоречивые действия. Именно несогласованность этих сфер и обуславливает всякого рода противоречия, возникающие в обществе» (с. 20—21). «Технико-экономическое» сословие или «социальная структура» (организация производства, технология, социопрофессиональная структура, распределение благ и услуг) руководствуется *функциональной рациональностью*, то есть эффективностью, достойной награды, полезностью, производительностью. Положенный в основу власти и социальной справедливости принцип *равенства* продолжает распространяться (с. 269—278), он теперь относится не только к равноправию всех граждан по отношению к закону, к всеобщему избирательному праву, к равенству общественных свобод, но также к «равенству средств» (требование предоставления равных возможностей, новых социальных прав, относящихся к образованию, здравоохранению, экономической безопасности) и даже к «равенству результатов» (специальные экзамены для меньшинств с целью компенсировать различие в оценках, требование равного участия всех граждан в принятии решений, касающихся работы больниц, университетов, газетных редакций или районов: пришел век «демократии участия»). Затем наступило «разъединение компонентов» — разногласия структурного характера между тремя категориями, основанными на противоречивых принципах: *гедонизме, эффективности, равенстве*.

В таких условиях приходится отказаться от предположения, что современный капитализм — это нечто единое: в продолжение ста с лишним лет противоречия между различными сферами, в особенности разрыв между структурой общества и «антиномичной культурой»<sup>1</sup> и развитием свободы индивида, все более углубляются. Поскольку капитализм развивался под эгидой протестантской этики, технико-экономическое сословие и культура образовали единое целое, покровительствующее накоплению капитала, прогрессу, общественному строю, но после того как гедонизм стал высшей ценностью и «наследием» капитализма, он стал утрачивать характер органической целостности, дух согласия и волю. Кризис современного общества — это прежде всего кризис культуры или духовности.

#### Модернизм и демократические ценности

По Д. Беллу, анализ модернизма должен опираться на два взаимосвязанных принципа. С одной стороны, современное искусство, определяемое как искусство самовыражения и бунт против всех господствующих стилей, противоречит кардинальным нормам общества, эффективности и равенству. С другой стороны, в силу этого разлада мы напрасно пытаемся определить природу модернизма в социальных или экологических категориях: «(Его) идеи и формы рождаются из своего рода диалога с прежними идеями и формами — принимаемыми или отвергаемыми» (с. 64). Враждебно относиться к теориям органицистов и марксистов, Д. Белл описывает гетерогенную работу демократического об-

<sup>1</sup> «К постиндустриальному обществу» (Vers la société industrielle. P. 411—416).

щества, противоречивую логику, которая его терзает, самостоятельность и несовместимость структур. Отсюда интерес, вызываемый этим анализом, где автор увеличивает количество параметров и отказывается от простых формул модернизма; в этом же заключается слабая сторона исследований, где критик оперирует чересчур большим количеством незавершенных и антагонистических явлений. Ограничиваясь такими несоответствиями, которые, впрочем, носят не столько структурный, сколько феноменологический характер, автор забывает о непрерывности исторического процесса, частью которого является модернистская культура, в особенности связи, которые соединяют ее с принципом равенства. Следует указать на непримиримые противоречия, которые допускает социолог. Лишь более широкий исторический контекст позволит нам определить точное количество этапов развития — разрывов и скачков. Анализ современного общества посредством «разъединения компонентов» допустим лишь отчасти; при отсутствии больших временных рамок социолог забывает о том, что художественный модернизм и равенство, отнюдь не являясь противоречивыми понятиями, составляют неотъемлемую часть одной и той же демократической и индивидуалистской культуры.

Модернизм не является первой и какой-то особенной вехой на пути разрушения искусства: несмотря на яростное стремление ломать традиции и вносить радикальные новшества, он продолжает оставаться частью культурного процесса, являясь, хотя и с запозданием в столетие, результатом работы современного общества, стремящегося вписаться в демократические рамки. Модернизм представляет собой лишь одну грань процесса секуляризации, цель которой — создание демократического, основанного на суверенитете личности и народа, общества, свободного от преклонения

перед идолами, от наследственной иерархии и засилия традиций. Это культурное продолжение процесса, который бурно проявился в изменении политических и законодательных учреждений в конце XVIII века, в осуществлении революционной демократической инициативы, приведшей к возникновению общества, не имеющего фундаментом божественное начало и представляющего собой проявление воли людей, признанных равными. Отныне общество обречено на то, чтобы изобретать свои учреждения, опираясь на человеческий разум, а не только на наследие коллективного прошлого; отныне не существует ничего неприкосновенного. Оно оставило за собой право руководствоваться собственными принципами, не обращая внимания на то, как выглядит со стороны, не опираясь на абсолютные, предписанные кем-то образцы. Не является ли это нежелание признавать превосходство прошлого элементом наступательной операции художников-новаторов? Подобно тому, как демократическая революция освобождает общество от влияния высших сил и их аналога — иерархических структур, художественный модернизм освобождает искусство и литературу от культа традиций, почтения к мастерам, подражательства. Оторвать социум от подчинения внешним могущественным факторам, а не человеческой инициативе, освободить искусство от описательно-изобразительных законов — такова все та же логика создания автономного порядка, основой которого является свободная личность. «Новое искусство имеет своей целью переоценку отношений между объектом и картиной, явное подчинение объекта картине», как писал Мальро, вторя Морису Дени: задача модернизма — «чистая композиция» (Кандинский), приобщение к миру форм, звуков, ощущений свободных и независимых, а не подчиненных навязанным извне правилам — будь то религиозным, социальным, оптическим

или стилистическим. Отнюдь не противореча принципу равенства, модернизм является продолжением, с помощью иных средств, демократической революции и ее работы по разрушению чуждых формаций. Модернизм создает искусство, оторванное от прошлого, являющееся полноправным хозяином самого себя, он — символ равенства, первое проявление демократизации культуры, даже если она проявляется в элитарных формах искусства, оторванного от масс.

При таких условиях мы видим ограниченность социологического метода, анализирующего искусство как «классифицирование», систему, управляемую дифференцированием статусов и их подчеркиванием. Начиная с конца XIX века, модернистский процесс освещает подлинную функцию искусства, а не символическое и социальное признание интересов групп, а также их отличий с точки зрения культуры. В историческом плане современное искусство нельзя свести к порядку распределения привилегий между культурной элитой; это способ продвижения экспериментальной и свободной культуры к постоянно перемещающимся границам, открытое и неограниченное творение; система знаков, которые непрерывно изменяются. Иначе говоря, это строго индивидуалистская культура, основанная на импровизации, по аналогии с политической системой, основанной на главенстве человеческой воли. Модернизм — это вектор индивидуализации и включения в постоянный кругооборот культуры, инструмент изучения новых материалов, новых значений и их комбинаций.

Подобно тому, как современное искусство продолжает демократическую революцию, оно, несмотря на свой подрывной характер, является продолжением индивидуалистской культуры, уже обсуждавшейся там и тут во многих своих проявлениях во второй половине XIX и в начале XX века. Приведем хотя бы исследова-

ние, посвященное благосостоянию и материальным радостям, которое уже осуществил Токвиль, указавший на увеличение «браков по любви», растущую тягу к спорту, стройности и современным танцам, быстро меняющуюся моду, но в то же время увеличение числа самоубийств и сокращение случаев насилия над личностью. Художественный модернизм не обрывает окончательно культурных традиций; в своем революционном рвении он совершенствует логику мира индивидуализма.

По сути своей модернизм демократичен: он не имеет ничего общего с традиционным и подражательским искусством; одновременно он дает начало процессу узаконения самых разных сюжетов. Мане отвергает лиризм поз, театральное и величественное расположение фигур; в живописи больше нет предпочтительных тем, ей незачем идеализировать мир; модель может быть тщедушной и презренной; люди могут вырядиться в пиджаки и черные плащи; натюрморт имеет такое же достоинство, что и портрет, а затем и эскиз к картине. Слава пришла к импрессионистам после того, как среди их картин появились виды пригородов, незамысловатые берега Иль де Франс, кафе, улочки и вокзалы. Кубисты в своих картинах используют цифры, буквы, кусочки бумаги, стекло или железо. По словам Дюшана,<sup>1</sup> для натуралистов важно, чтобы выбранный объект был абсолютно «индифферентным». Согласно этой логике, им может быть писсуар, ящик из-под бутылок. Делается это насмешки ради и для потрясения основ. Позднее поп-художники, неореалисты выберут в качестве сюжетов картин разные предметы, наклейки и отходы массового потребления. Современное искусство все чаще использует любые сюжеты и материалы, назы-

<sup>1</sup> Дюшан Марсель (1887—1968), французский художник.



вая этот процесс *десублимацией*<sup>1</sup> произведений, что в точности соответствует демократической десакрализации политических актов, сокращению наглядных знаков власти, секуляризации закона: налицо та же работа по низведению высоких понятий и величественных явлений; все сюжеты помещаются на один и тот же уровень; в художественных произведениях и литературе могут отразиться любые элементы. В книгах Джойса, Пруста, Фолкнера уже ни один момент не является предпочтительным, все факты имеют ценность и достойны описания. «Мне хотелось бы включить в этот роман все», как писал Джойс о своем «Улиссе»: банальное, незначительное, тривиальное, ассоциации идей — обо всем этом повествуется без иерархического суждения, без дискриминации, наравне с важными фактами. Отказ от иерархического построения фактов, объединение всевозможных сюжетов и самых разных тем, мнимое значение модернистского равенства — все это добавилось к вызову художника.

Даже выпады в адрес столпов авангарда представляют собой отзвуки демократической культуры. У дадаистов искусство само себя торпедирует и требует собственного уничтожения. Речь идет о ликвидации художественного фетишизма, иерархической изоля-

<sup>1</sup> Процесс десублимации, каким мы его понимаем, отличается по смыслу от того, какой вкладывает в него Г. Маркузе. В его работе «Человек в одном измерении» (*Marcuse H. L'Homme unidimensionnel*. Ed. de Minuit, 1968) десублимация означает включение противоположных содержаний высшей культуры в повседневную жизнь, ассимиляцию и уравнивание произведений обществом, которое в больших масштабах распространяет произведения самой высшей пробы: ликвидация дистанцированной культуры, противоречащей действительности, осуществляется с помощью общества посетителя *drugstore*, телезрителей и любителей музыкальных дисков. В действительности десублимация возникла сто лет тому назад.

\* Аптека, закусовая — *англ.*

ции искусства от жизни во имя тотального человека, о противоречиях, о творческом процессе, о поступках, об элементе случайности. Известно, что сюрреалисты, Арто, а затем элпенинги, как и примеры антиискусства, ориентированы на преодоление противопоставления искусства жизни. Но надо быть начеку, это постоянная мишень модернизма, а не постмодернизма, как утверждает Д. Белл. Вовсе не восстановление плоти, реванш эмоций, направленных против разложенной по полкам современной жизни, а культуры равенства — вот что безвозвратно губит сакральность искусства и, соответственно, превозносит непредвиденное, шумы, крики, повседневность. Рано или поздно все обретает свое достоинство, культура равенства приводит к возвышению, всеобщему обновлению символов и объектов, кроющихся в глубине. Несомненно, сюрреалистический бунт не надо воспринимать как прозу, он возникает под знаком чуда, совершенно иной жизни, но следует иметь в виду, что «сюрреалистичное» не идентифицируется ни с воображаемым, ни с романтическим бегством, экзотическим путешествием: наиболее тревожные признаки следует искать на парижских улицах, или блошиных рынках, в необычных встречах и случайных событиях обыденной жизни. Искусство и жизнь находятся здесь и сейчас. Позднее Дж. Кейдж посоветует считать музыкой любой звук во время концерта, а Бен приедет к идее «тотального искусства»: «Скульптура тотального искусства: берите все, что угодно; музыка тотального искусства: слушайте все, что угодно; живопись тотального искусства: смотрите на все, что угодно». Недостигаемым высотам искусства приходит конец, когда оно соприкасается с жизнью и выходит на улицу; «поэзия должна создаваться всеми, а не одним»; действие интереснее, чем результат; все искусство: демократический процесс разру-

шает иерархии и лепные карнизы, бунт против культуры, любой нигилистический радикализм стали возможными лишь с возникновением культуры homo aequalis.<sup>1</sup>

Если современные художники находятся на службе демократического общества, то это происходит не благодаря их молчаливой работе на благо старого режима, а после их вступления на путь радикальных перемен, путь экстремизма, новых политических потрясений. Модернизм, независимо от намерений художников, должен рассматриваться как распространение революционной динамики на сферу культуры. Аналогии между революционным процессом и модернизмом прослеживаются со всей очевидностью: то же желание провести четкую и непроходимую границу между прошлым и настоящим; то же обесценивание традиционного наследия («Я хочу быть словно новорожденный, не знать ничего, не иметь никакого представления об Европе... быть почти первобытным человеком», — П. Клее); то же преувеличение или секулярная сакрализация новой эры во имя народа, равенства, нации — в одном случае; во имя самого искусства или «нового человека» — в другом; тот же принцип «все или ничего», те же явные перегибы, будь то в среде идеологов и террористов относительно изменений в общественном строе, будь то стремление развивать все дальше художественные новшества; то же желание бросить вызов существованию национальных границ и сделать всеобщим новый мир (искусство авангарда вырабатывает космополитический стиль); то же создание групп «авансом», воинствующие элементы, художники-авангардисты; то же манихейство, приводящее к исключению из творческого процесса самых близких тебе людей. Подобно тому, как бунтовщики испытыва-

<sup>1</sup> Человек, достигший равенства — *lat.*

ют потребность искать в своих рядах предателей, так и художники-авангардисты рассматривают творчество своих предшественников, своих современников, как и искусство в целом, заблуждением или помехой по-настоящему творчеству. Если, как это заявил Токвиль, французская революция развивалась по примеру религиозных движений, то можно утверждать, что художники-модернисты поступали подобно инсургентам. Модернизм представляет собой перенос бунта в сферу искусства. По этой причине мы не можем разделять критические взгляды Адорно, который, верный в этом отношении марксистским воззрениям, видит в модернизме «абстрактный» процесс, аналогичный всеобщему пересмотру ценностей на этапе развитого капитализма.<sup>1</sup> Модернизм не в большей степени воспроизводит торгового сословия, чем французская революция — «революция буржуазная»;<sup>2</sup> экономической строй, с точки зрения классовых интересов или кулической логики, не способен объяснить модернистских перегибов, бунт против «фанатичной религии прошлого», восторженного отношения к «светлому будущему» (*Футуристический манифест*), стремления к радикальному обновлению. Логика авангардизма — это та же логика французской революции с ее манихейством по отношению к системе, где в основе лежат ценности, накопление и равенство. Это мнение разделяет Д. Белл, заявляющий, что культура модернизма антибуржуазна. Более того, она, по существу, демократична и по этой причине неотделима, подобно великим политическим переворотам, от мнимой ценности свободного и самодостаточного индивида, харак-

<sup>1</sup> Адорно В. Цит. пр. С. 36.

<sup>2</sup> Все эти строки во многом заимствованы из работ Фр. Фюре. См.: Фюре Фр. «Мысли о французской революции» (*Furet Fr. Penser la Révolution française*. Gallimard, 1978).

терного для нашего общества. Подобно тому, как индивидуалистская идеология сделала бесповоротно нелегитимным политический суверенитет, происхождение которого не связано с человеческим началом, то именно новое изображение свободных и равных индивидов лежит в основе коренных потрясений в сфере культуры и «традиции нового».

Зачастую указывали, впрочем, довольно бесосновательно, на решающую роль прорывов в философии (бергсонизм, Ч. Джеймс, Фрейд) и науке (неевклидова геометрия, аксиоматика, теория относительности) при возникновении модернизма. Опираясь на марксистский анализ, ученые не преминули отметить в модернистском искусстве более-менее точное отражение капиталистического отчуждения. Совсем недавно Ж. Эльзоль безапелляционно утверждал, что «все характерные особенности модернизма» становятся понятными, если рассматривать его с технической точки зрения.<sup>1</sup> П. Франкастель объяснил исчезновение евклидова пластического пространства с позиции нового изображения отношений между человеком и вселенной, то есть, новых ценностей, создаваемых наукой и техникой, где преимущество отдается скорости, ритму, движению.<sup>2</sup> Все эти исследования, отличающиеся по своей глубине, не следует рассматривать с одной и той же точки зрения, и тем не менее, они никак не могут объяснить специфические особенности модернизма, императив нового и традицию разрыва с прошлым. Откуда такое множество сопоставимых групп и стилей, которые взаимно исключают друг друга? Откуда этот каскад перерывов в развитии искусства

<sup>1</sup> Эльзоль Ж. Цит. пр. С. 83.

<sup>2</sup> Франкастель П. Живопись и общество ( *Francastel P. Peinture et société. Idées/Art: Gallimard, 1965. 3<sup>e</sup> partie*). См. также: Искусство и техника ( *Art et Technique, «Méditations», в основном с. 170—179 и 210—216*).

и иконоборческих течений? Ни успехи в области техники, ни сопутствующие им ценности не могут оправдать целую серию скандалов, которые характеризуют модернистское искусство, возникновение эстетического учения, отрицающего принципы чувственного восприятия и общения. Дело обстоит так же, как и в отношении научных теорий; изменения не являются неизбежными, новые факты можно трактовать в терминах данной системы, тем самым прибегая к дополнительным параметрам. Мир скорости может подсказать нам новые сюжеты — что он, впрочем, уже делал — не было никакой необходимости в лишенных хронологической последовательности, обрывочных, абстрактных, разрушающих смысл произведениях, тем более нужды продолжать без конца отступление от правил и экспериментирование. Здесь проявляется несостоятельность социологического анализа технических достижений, если создаваемое при этом искусство отрицает всяческую стабильность, если при этом появляются произведения столь же образные, сколь абстрактные; столь же иллюзорные, сколь функциональные; экспрессионистские и в то же время геометрические; формалистские и в то же время «анархистские» (Дюшан): как только искусство становится космополитическим, исчезает единство воззрений, возникают самые противоположные, существующие бок о бок тенденции. Мы не сможем уяснить себе всеядность современного искусства, исходя из научного и технического единства индустриального мира.

Модернизм мог возникнуть лишь в результате социальной и идеологической логики, допускающей появление контрастов, различий и антиномий. Уже было выдвинуто предположение, что с помощью индивидуалистской революции впервые в истории индивид, равный любому другому, представляет собой конеч-

ную цель, мыслит самостоятельно и завоевывает право свободно распоряжаться собой, что и составляет суть модернизма. Токвиль отметил, что когда индивид сосредоточен на себе и считает себя независимым звеном в цепи поколений, прошлое и традиции утрачивают свое значение: индивид, считающийся свободным существом, более не почитает предков, которые ограничивают его неотъемлемое право быть самостоятельной личностью. Культ новизны и современности является неизбежным следствием этой индивидуалистской дисквалификации прошлого. Любая школа, пользующаяся определенным авторитетом, любой стилистический опыт, любое установившееся мнение обречено на то, чтобы их критиковали, относили в разряд отживших после того, как возобладал идеал личной автономии: пренебрежительное отношение к господствующим стилям, склонность художников менять свою «манеру», появление множества групп — все это неразделимо с культом свободного индивида, организаторской деятельностью в чистом виде, идеал которой — творить без надзора Учителя и избегать топтания на одном месте. Новизна — вот тот инструмент, которым вооружено индивидуалистское общество, чтобы бороться с застоём, повторами, единством мнений, верностью столпам искусства и самим себе ради свободной, раскованной и плюралистической культуры.

Особенность модернистского новаторства в том, что оно ассоциируется со скандалами и разрывом с традициями; в результате возникают произведения, нарушающие гармонию и здравый смысл, противоречащие нашему привычному восприятию пространства и изобразительных средств. В обществе, основанном на неизменной, конечной ценности каждой человеческой личности, искусство способствует появлению лишенных целостности, абстрактных, замкнутых в себе фигур; оно представляется нам лишенным человечно-

сти. Этот парадокс в точности согласуется с нашим представлением об индивиде, который «является квазисвященным, абсолютным существом; нет ничего выше его законных требований, его права ограничены лишь правами других индивидов».<sup>1</sup> Модернисты выдвинули идею, согласно которой безграничная свобода объясняет, что именно отделяет нас от классического гуманизма. В эпоху Возрождения полагали, что человек перемещается в неподвижном и геометрическом мире, наделенном неизменными атрибутами. Внешний мир, даже несовершенный и открытый к действию, тем не менее, подчиняется установленным, вечным законам, которые человек может лишь констатировать.<sup>2</sup> Согласно взглядам модернистов, представление о том, что реальность диктует свои законы, несомненно с ценностью отдельной онтологически свободной монады. Вопреки законам, действительности, здравому смыслу, свобода, по мнению модернистов, не допускает никаких ограничений в своем отношении; она проявляется в гиперболическом процессе отрицания гетерономных<sup>3</sup> правил и соответственно в независимом творчестве, устанавливающем собственные законы. Все, что ставит себя в положение бесспорной независимости, все, что подразумевает априорное подчинение, не может долго сопротивляться работе индивидуальной автономии. «Я хотел добиться права отожить-

<sup>1</sup> Дюмон Л. Иерархический человек (*Dumont L. Homo hierarchicus*. Gallimard, 1966. P. 17).

<sup>2</sup> Франкастель П. Живопись и общество (*Peinture et société*).

<sup>3</sup> В таких условиях творчество и воззрения де Сада представляют собой первое характерное проявление модернизма: «То, чему он (де Сад) следовал, заключалось в самоутверждении посредством отрицания, доведенного до крайности. Это отрицание поочередно служило людям, Богу, природе, чтобы проверить справедливость данной мысли». См.: Бланшо М. Лотреамон и Сад (*Blanchot M. Lotréamont et Sade*. Ed. du Minuit, 1963. P. 42).

ся на все», — говорил Гоген. Свобода больше не является адаптацией или вариацией традиции; она требует разрыва, неповиновения, низложения унаследованных законов и символов, самостоятельного творчества, изобретения без готовых образцов. Подобно тому, как современный человек завоевал право свободно распоряжаться собой в частной жизни, размышлять о природе власти и закона, он завоевывает непрерываемое право беспрепятственно создавать формы, следуя внутренним законам, присущим данному произведению, выходя за ранее установленные рамки, и «творчество становится сознательной операцией» (Кандинский). Имея в виду общество, которое предстоит изобрести; частную жизнь, которую надлежит наладить; культуру, которую нужно создать и дестабилизировать, модернизм не может воспринимать себя вне всякой зависимости от свободного индивида, лепящего себя. Именно ломка «холистической» организации, изменение отношений индивида к социальному окружению на благо отдельной личности, воспринимаемой свободной и подобной другим индивидам, создали искусство, освобожденное от оптических и лингвистических условностей, от законов изображения, интриги, правдоподобия и благозвучия.

Несомненно, свобода потребовала появления экономических и социальных условий, позволивших художникам преодолеть финансовую и эстетическую опеку церкви и аристократии, начиная со средних веков и эпохи Возрождения. Инструментом этого освобождения было, как известно, возникновение рынка искусства: по мере того как художники стали обращаться к более широкой и разнообразной публике, по мере увеличения их «кlientуры» их произведения попадали на рынок, чему способствовали особые институты их распространения и рекламирования в культурных кругах (театры, издательства, академии, сало-

ны, критики, искусствоведы, галереи, выставки и т. д.); художественное творчество смогло освободиться от системы меценатства, от внешних критериев и все более открыто заявлять о своей полной самостоятельности.<sup>1</sup> При всей ее существенной роли, эта «материальная база» модернизма не позволяет детерминизму затмевать внутреннюю силу воображения и значимость свободы, без которой модернизм немислим. Художественное творчество вписывается в глобальное общественное движение, и художники оказываются погруженными в системы ценностей, выходящих за рамки художественной сферы: трудно себе представить художественный бунт вне зависимости от этих ценностей, которые определяют и ориентируют работу индивидов и групп. Существование рынка литературных и художественных произведений не может само по себе объяснить экспериментаторское и разрушительное рвение художников: рынок сделал возможным свободное творчество, но не сделал его обязательным; он обесценил критерии аристократов, не создал сам по себе ценности, требуя бесконечного новаторства. Почему прежний стиль не был заменен новым? Чем объяснить это преувеличенное значение новизны, этот бурный рост всяческих течений? Как известно, именно новый конформизм может противопоставить себя логике рынка (возьмем, к примеру, кинопродукцию, музыку варьете): неразгаданной остается загадка, почему художники, лишенные меценатской поддержки, выступили *против мнения* публики и предпочли нищету и непонимание во имя искусства. Для того чтобы возникла модернистская страсть к новизне, потребовалось появление новых ценностей, ко-

<sup>1</sup> Бурдьё П. Интеллектуальное пространство и творческий проект (Bourdieu P. Champ intellectuel et projet créateur. Les Temps modernes. 1966. N 246).

торые художники не изобрели, но имели «в своем рас-  
поряжении»; эти ценности обусловлены предпочтением,  
которое отдается индивиду перед коллективом. В ре-  
зультате будут обесцениваться устоявшиеся модели,  
образцы, какими бы они ни были. Индивидуалисти-  
ческая идеология, которую нельзя свести к «соперни-  
честву в борьбе за культурное наследие» — ни стрем-  
ление к оригинальности, ни старания выделиться не  
могут объяснить решительные шаги модернистов по-  
рвать с прошлым, даже если допустить, что, начиная  
с определенного момента, творчество превращается  
в конкуренцию с единственной целью — достижения  
иного статуса. Индивидуалистическая идеология при-  
несла гораздо более ощутимый результат, чем борьба  
за признание в художественном мире, а именно исто-  
рическую силу, которая обесценила традиции и гете-  
рономные формы, дискредитировала принцип подра-  
жания, вынудила неустанно искать новые формы,  
изобретать всяческие комбинации вопреки непосред-  
ственному опыту. Модернистское искусство опирает-  
ся на такие ценности, какими являются свобода, ра-  
венство, революция.<sup>1</sup>

### Модернизм и открытая культура

Несмотря на отсутствие единства в модернизме, в нем  
прослеживается явная тенденция, которую Д. Белл

<sup>1</sup> Именно homo clausus — человек, оторванный от общества,  
порвавший с настоятельным принципом следовать предписаниям  
коллектива, существующий сам по себе и равный всем остальным  
людям, «обрабатывает» или «разрушает» формы, а не энергия инер-  
ции или желания. Об интерпретации модернизма в фрейдовских  
категориях «либидо» см.: *Лиотар Ж.-Фр. Сообщения. Фигура (Lyotard J.-Fr. Discours, Figure. Kliencksieck, 1971)* и «Сдвиг в нашем  
сознании, начиная с Маркса и Фрейда» (*Dérive à partir de Marx et  
Freud. U.G.E. Coll. «10/18», 1973*).

называет «затмением дистанции» (с. 117—127), — не-  
известный ранее процесс, охватывающий новую струк-  
туру, новую цель и новое восприятие произведений  
искусства. В образительных его видах «затмение  
дистанции» соответствует разрушению глубокого и  
однородного сценографического евклидова простран-  
ства, составленного из отобранных планов, при этом  
картина рассматривается неподвижным зрителем, на-  
ходящимся на определенном расстоянии. «Отныне мы  
будем помещать зрителя в центр картины», — заяв-  
ляли футуристы; в работах же модернистов больше  
нет ни единого удаленного предмета. Человек нахо-  
дится как бы внутри изображенного на картине, и ряд  
художников организуют открытые искривленные или  
«полисенсорные»<sup>1</sup> пространства, в которые погружен  
зритель. В литературе мы наблюдаем то же расчлене-  
ние прежде единой и статичной точки отсчета; ука-  
жем, к примеру, на «Книгу» Малларме, «Улисс» Джой-  
са. В романе 1920-х годов более не доминирует взгляд  
всезнающего и отстраненного автора, который зачас-  
тую вкладывает собственную душу в своих персона-  
жей; непрерывность повествования нарушается, фан-  
тазия смешивается с действительностью, повествование  
развивается само собой, представляя собой череду  
субъективных и случайных впечатлений персонажей.

Следствием этой встряски образительного прост-  
ранства является «затмение дистанции» между про-  
изведением и зрителем, назовем его исчезновением  
эстетического восприятия и разумной интерпретации  
ради «сенсационности, одновременности, непосред-  
ственности и силы воздействия» (с. 119), которые яв-  
ляются великими ценностями модернизма. Известно  
воздействие примитивной, неистовой музыки, воз-  
буждающей стремление двигаться и вихлять бедрами

<sup>1</sup> Франкастель Р. Цит. пр. С. 195—212.

(свинг, рок). Не меньшее воздействие оказывается с помощью гигантского изображения в темном зале кинотеатра. Непосредственность в романах В. Вульф, Пруста, Джойса, Фолкнера, стремящихся к подлинности сознания, свободного от социальных условностей, и воспринимающих действительность как изменяющуюся, расчлененную на эпизоды и зависящую от случая. Эта одновременность есть у кубистов или у Аполлинера. Культ сенсации и непосредственности восприятия — у сюрреалистов, которые отрицают чисто формальную поэзию и пристально следят за красотой «исключительно как объектом страсти» (Бретон). Искания модернистов имели своей целью и результатом погружение зрителя во вселенную ощущений, напряженности и утраты ориентиров; так происходит «затмение дистанции», так возникает культура, основанная на драматизации, эмоциях и их постоянной стимуляции. Именно это заставило Д. Белла заявить: «Модернистская культура настаивает на антиинтеллектуальном методе и способностях отрицания познания, которые нацелены на инстинктивный поиск источников самовыражения» (с. 94).

Разумеется, «затмение дистанции» можно рассматривать как одну из целей модернизма при условии, что не будет затушеван его совершенно противоположный результат, его герметичность, «интеллектуализм», «непримиримость», как заявил Адорно. Было бы упрощением учитывать одни лишь намерения художника; столь же существенно иметь дело с его работами, которые сегодня, как и вчера, побуждают публику взглянуть на них по-новому и оставляют ее по крайней мере в недоумении. Как можно говорить о затмении дистанции оносительно сюжета произведений, чьи необычные, абстрактные или расчлененные, вносящие диссонанс или едва заметные построения провоцируют скандалы, запутывают сущность сообщения, нару-

шают понятный порядок пространственно-временной непрерывности и тем самым обуславливают не столько эмоциональное восприятие зрителем произведения, сколько критическое к нему отношение? То, что Брехт хотел осуществить с позиций политики и дидактики в своем эпическом театре, живопись, литература и музыка уже сумели достичь, не делая особого упора на материальные и педагогические средства. В этом смысле нужно согласиться с Брехтом; все модернистское искусство, в силу его экспериментаторства, основано на эффекте дистанцирования и вызывает удивление, подозрение или отторжение «конечных целей» произведения и самого искусства. У авторов это дистанцирование соответствует возрастающему числу вопросов, относящихся к самым основам искусства: что такое произведение, что такое живопись, зачем необходимо писать? «Существует ли такое понятие, как литература?» — спрашивал себя Малларме. Модернистское искусство, которое вовсе не отсылает нас к эстетике грубого чувства, неотделимо от поисков первоначального смысла, от изучения критериев, функций, основных элементов художественного творчества, в результате чего границы искусства постоянно остаются открытыми. Вот почему с начала XX века так часто появляются манифесты, сочинения, листовки, предисловия к каталогам. Прежде художники довольствовались тем, что сочиняли романы и писали картины; отныне они объясняют публике значение их творчества, становятся теоретиками и интерпретаторами своей работы. Искусство, которое стремится к спонтанности и непосредственному воздействию, как это ни парадоксально, тотчас сопровождается словоизлиянием. Но противоречие не в этом, налицо отрыв индивидуалистического искусства от всяческих эстетических условностей, так что требуется что-то наподобие дополнительных занятий с отстающими.

Модернистская культура, культура индивидуализма не уподобляет произведение личному признанию; модернизм «переделывает реальность, куда и удаляется внутренняя сущность моего „Я“, а личный опыт становится источником вдохновения и эстетических занятий» (с. 119). Напротив, разве в модернистском произведении не ищут всего того, что оторвано от субъективного и добровольного опыта при наличии привычного восприятия фактов и их обозначения? Будучи экспериментальным, основанным на преодолении пределов собственного «Я», на изучении того, что по ту сторону нарочитого и преднамеренного, модернистское искусство интересуется зрительным и умственным восприятием в его непосредственной (дикой) форме (автоматическое письмо, *dripping*,<sup>1</sup> *cut up*.<sup>2</sup> Пропаганда необычного, восхваление несогласованного и иррационального, демократическая работа по принципу равенства имели своей целью интеграцию и пересмотр всего, но, по словам Бретона, уже в открытой, неуловимой, «разрешимой» форме. Модернистская культура, универалистская по своему замыслу, одновременно определяется процессом персонализации или, иначе говоря, тенденцией к уменьшению или ликвидации стереотипного образа нашего «Я», значения реальности и логики, тенденцией к устранению антиномий между объективным и субъективным началом, между реальным и мнимым, бодрствованием и грезами, прекрасным и безобразным, разумом и сумасшествием — все для того, чтобы освободить дух, избежать ограничений и запретов, раскрепостить воображение, снова вдохнуть страсть в жизнь и творчество. Речь идет вовсе не об уходе внутрь самого себя, а о революционной цели, к которой стремятся, несмотря на все

<sup>1</sup> Здесь: потеки, наплывы краски и др. — *англ.*

<sup>2</sup> Царапины, обрезки — *англ.*

преграды и придуманные тиранами определения касательно живущих «собачьей жизнью», о тяге к радикальной персонализации индивида, к созданию нового человека, у которого открываются глаза на то, что такое подлинная жизнь. Процесс персонализации, который состоит в том, чтобы ликвидировать жесткие ограничения и утвердить неповторимость индивида, здесь проявляется в его первоначальном революционном виде.

Даже роман, который появляется в начале XX века, нельзя рассматривать как буквальный пересказ сокровенных фактов биографии и в еще меньшей степени — как грубое отражение психологического солипсизма. Как показал Мишель Зераффа, новый романтизм 1920-х годов, в основе которого лежала «субъективистская доминанта», не является открытием нашего «Я», это следствие нового социально-исторического опыта индивида, существование которого ассоциируется с мимолетностью и противоречивостью непосредственной жизни.<sup>1</sup> Возникновение романов *stream*<sup>2</sup> стало возможным лишь в результате такой концепции индивида, согласно которой его преимущественные черты — «спазмичность, неопределенность, фрагментарность и неудачливость» (В. Вульф). Следует иметь в виду, что ни тонкое психологическое наблюдение, ни пережиток буржуазных условностей, ни дегуманизация индустриального мира не смогли привести к этой новой интерпретации личности; несомненно, эти факторы сыграли роль катализатора, но если бы спонтанность, случайные впечатления и аутентичность стали художественными и интимными достоинствами, то это произошло бы скорее как следствие идеологии само-

<sup>1</sup> См.: Зераффа М. Романическая революция (*Zerffa M. La Révolution romanesque*. U. G. E. Coll. «10/18», chap. II).

<sup>2</sup> Поток сознания — *англ.*



стоятельного, а не социально ориентированного индивида. Как человек, признанный онтологически свободным, мог в конечном счете избежать неформального, смутного, неуловимого впечатления; как можно было отвергнуть неопределенный и неустойчивый смысл сюжета, эти экзистенциалистские и эстетические проявления свободы? Индивид, свободный в полном смысле слова, легок на подъем, не ограничен какими-то рамками; его существование обречено на неопределенность и противоречивость. Кроме того, равенство нарушает иерархию способностей и событий, придает значение каждому моменту, узаконивает всякое впечатление; вследствие этого образ индивида может быть воспринят как нечто раздробленное, незавершенное, неполное. В романах В. Вульф, Джойс, Пруста, Фолкнера больше нет надуманных, следующих правилам этикета персонажей, находящихся во власти писателя; отныне их поведение не столько объясняется, сколько проистекает из их спонтанных реакций, горизонты романического жанра раздвигаются, на смену разговорам приходят ассоциации, объективное описание сменяется релятивистской и переменчивой интерпретацией, непрерывность — внезапными ее нарушениями. Налицо размывание твердых устоев и противопоставление внешнего и внутреннего, множество точек зрения, подчас сомнительного свойства (Пираделло), это некое пространство без границ и центра, и модернистское произведение — будь то книга или картина — является *открытым*. Роман, по сути, не имеет ни четкого начала, ни конца; персонажи его «не завершены» подобно интерьеру у Матисса или лицу у Модильяни. Незаконченность произведения представляет собой дестабилизирующий аспект персонализации, который заменяет иерархическое, непрерывное, основанное на разговорах построение классических произведений; используемые конструкции могут быть

разномасштабными, неопределенными из-за отсутствия устойчивых критериев, не подчиняющимся строгой хронологии.

Благодаря неутомимым поискам новых материалов, новым комбинациям звуковых или визуальных символов модернизм разрушает все правила и условия стилистики; в результате возникают дестандартизованные, безжизненные произведения, которые все больше утрачивают элементы эстетики, как музыкальной, языковой, так и оптической. Модернизм чаще опустошает художественное произведение, чем разрушает его, сочиняет невероятные «послания», зашифрованные непонятным образом. Выражения выбираются без опоры на установленные каноны, без использования общего языка, в соответствии с логикой индивидуалистической и свободной эпохи. В то же время юмор или ирония становятся существенными ценностями самодовлеющего искусства, которому незачем что-то почитать и которое отныне открыто для соблазна скоморошества. «Юмор и смех — обязательно оскорбительного свойства — это мои орудия, которые я предпочитаю» (Дюшан); отказ, как от ненужного балласта, от всяких законов сопровождается непринужденностью стиля, фантастической близостью, крайней степенью свободы художника и десублимацией произведений творчества. Разрядка, привносимая юмором, — это основной элемент открытого произведения. Даже художники, которые будут заявлять, что смысл излишен, что не о чем говорить, если имеешь дело с пустотой, станут высказывать те же самые мысли, добавляя к ним толику юмора (Беккет, Ионеско). Модернистское искусство не исключает функции сообщения, оно его преобразует, десоциализируя художественные произведения, вырабатывая свои правила и соответственные послания, внося смятение в ряды публики, которая отныне

становится разрозненной, неустойчивой и ограниченной, скрывая под маской юмора смысла и бессмыслицу, творчество и игру.

Нарушается даже отношение к художественному произведению, оно становится эстетически «несцепленным» (Кандинский), поливалентным. В модернистском искусстве больше не существует привилегированного зрителя; произведение изобразительного искусства более не рассматривается с определенной позиции, наблюдатель динамичен, он является подвижной точкой отсчета. Эстетическое восприятие требует некоторой дистанции, воображаемого или реального перемещения, с помощью которого произведение komponуется в соответствии со взглядами и ассоциациями самого наблюдателя. Таким образом, не поддающееся определению, видоизменяемое, модернистское произведение устанавливает первую форму систематического участия; зритель призывается тем или иным способом к сотрудничеству с создателем данного произведения, он становится его «соавтором». <sup>1</sup> Модернистское искусство открыто, оно требует «манипуляторского вмешательства пользователя», соучастия читателя или зрителя, умения слушателя музыкального произведения комбинировать, учитывать фактор случайности. Неужели это реальное или воображаемое участие, отныне становящееся компонентом произведения, как полагает Умберто Эко, так же как двусмысленность, неопределенность, неоднозначность стали ценностями, новыми эстетическими задачами? «Нельзя, чтобы читателю навязывалась неоднозначная интерпретация, «произведе-

<sup>1</sup> Брион-Герри Лишан. Эволюция структурных форм в архитектуру в период 1910—1914 гг. (*Briion-Guerry Lihan. L'évolution des formes structurales dans l'architecture des années 1910—1914 in L'Année 1913; Klincksieck, 1971. Т. I. P. 142.*)

ния», — писал У. Эко: <sup>1</sup> если все произведения искусства подвержены множеству толкований, то лишь модернистское произведение будет создано специально для получения неоднозначных символов, лишь оно стремилось к смутному, расплывчатому, к внушению, двусмысленности. Неужели это есть его главная особенность? Неопределенность — это скорее результат, чем поставленная цель; двусмысленность у модернистов является следствием этих новых художественных проблем, к которым относятся допущение различных точек зрения, освобождение от «бесполезного веса объекта» (Малевич), придание ценности произвольному началу, случайности, автоматизму, юмору и каламбурам, отказ от классического обособления искусства от жизни, прозы от поэзии, безвкусицы от хорошего вкуса, игры от творчества, предмета обихода от произведения искусства. Модернизм освобождает зрителя или читателя от «направленного воздействия» прежних работ, поскольку он, по существу, разрушает устои искусства, изучает все возможности, отмечает все условности, не прибегая к априорным экспериментальным ограничениям. При этом возникла «недирективная» эстетика с модернистской детерриториализацией. Произведение является открытым, потому что сам модернизм является увертюрой, открытием, уничтожением прежней среды и критериев, а также завоеванием самых неожиданных сфер.

Сообщения следуют гибким правилам или действуют вообще без правил, активно привлекая к искусству зрителей, ведь модернизм подвергался воздействию персонализации уже в то время, когда преобладающая социальная логика была все еще дисциплинарной.

<sup>1</sup> Эко У. Открытое произведение (*Eco U. L'Oeuvre ouverte. Ed. du Seuil, 1965. P. 22.*)

Важный элемент модернистского искусства заключается в том, что оно зародилось в период революционной лихорадки, на стыке веков, представляя собой тот тип культуры, логика которого та же, что будет преобладать позднее, когда потребление, образование, распределение благ, информация приведут к возникновению общества на основе участия, субъективизации, контактов. Д. Белл увидел в модернистской культуре предвестие нового, но он не заметил, что главная ее черта не в гедонистическом содержании, а в возникновении неизвестного социального феномена — процесса персонализации, который будет охватывать все новые сферы и в конце концов станет главной особенностью современного и грядущего общества — бездушного, мобильного и неустойчивого. Модернистское искусство — это первый его дестабилизированный и персонализированный элемент, прототип open society;<sup>1</sup> как если бы авангард одновременно следовал hot<sup>2</sup> или революционной логике, в то время как процесс персонализации, который охватит общественную и индивидуальную жизнь, истощит революционную страсть и утвердится в cool<sup>3</sup> запрограммированном регистре. При таких обстоятельствах необходимо пересмотреть кредо 1960-х годов, согласно которому модернистское искусство является антиподом мира регулируемого потребления. Будучи революционным, глубинный порыв модернизма тем не менее остается изоморфным по отношению к логике постмодернистского, соучастующего, неосязаемого, себялюбивого общества.

Персонализация искусства, осуществленная художниками-авангардистами, сходна с тем, что про-

<sup>1</sup> Открытое общество — *англ.*

<sup>2</sup> Горячий — *англ.*

<sup>3</sup> Прохладный — *англ.*

изошло с другим течением авангарда, на этот раз теоретического характера, которое представляет психоанализ. Модернистское искусство и психоанализ взаимосвязаны: на заре XX века в культуре осуществлялся тот же процесс персонализации, создававший «открытые механизмы». Руководствуясь правилом «говорить все», свободными ассоциациями, психоаналитик, вступающий в контакт с пациентом, о многом все же умалчивает. Отношения между ними либерализуются и входят в гибкую атмосферу персонализации. Анализ становится «нескончаемым», в соответствии с современным представлением об индивиду, этой высшей ценности; жесткая позиция психоаналитика сменяется прежним рассеянным вниманием. Отныне ничего нельзя исключить, иерархия символов сходит на нет; смысл выражается любым способом, в том числе (и в особенности) через явную бессмыслицу. Подобно тому как в модернистском искусстве существо дела и всякие пустяки трактуются одинаково, так и понятие «человек» включает в себя людей разного достоинства; все имеет право голоса: разумное и бессмысленное перестают быть антиподами и включаются с полным основанием в работу по принципу равенства. Будучи основными частями модернистской культуры, бессознательное и тормозящее начала являются векторами персонализации: мечта, оплошность, невроз, неудачное действие, мираж уже не относятся к отдельным сферам, они объединяются тем или иным образом под эгидой «формаций бессознательного начала», которые называются интерпретацией «от первого лица», основанной лишь на ассоциациях, вызываемых предметом. Несомненно, ребенок, дикарь, женщина, развратник, сумасшедший, невроз — все это сохраняет свою специфику, но области применения этих понятий меняются. Психоанализ изменил представление об индивиду, устранив жесткие определения в психологии и но-

зографии,<sup>1</sup> учитывая умственные дефекты индивида, разрушая устоявшиеся схемы.

Идет ли речь об авангарде художественном или психоанализе, мы имеем дело все с той же персонализацией, правда, сопровождаемой вносящим несогласие, иерархическим и жестким процессом, в котором прослеживаются связи, все еще объединяющие культуру, открытую окружающему дисциплинарному и авторитарному миру. С одной стороны, художники-авангардисты обособляются, как бы объединяясь в элитные батальоны, ломающие все традиции, подталкивающие искусство от одной революции к другой; психоанализ возобновляет свою практику посредством строгого ритуала, основанного на сохранении дистанции между аналитиком и клиентом. Более того, психоаналитики входят в Международную ассоциацию, руководство которой требует верности учению Фрейда и следования догмам, искореняя отступников и еретиков и вербруя себе новых адептов. Авангардисты — художники и психоаналитики — обеспечивают компромисс между персонализированным и дисциплинарным миром. Получается, будто бы открытая логика, доведенная до финала единственным индивидом, могла возникнуть лишь в рамках иной — иерархической и принудительной — схемы, всегда преобладающей в социальной среде.

### **Потребление и гедонизм: к постмодернистскому обществу**

Расцвет модернизма, насыщенный громкими скандалами, связанными с авангардом, позади. К настоящему времени авангард выполнил свою провокационную задачу; больше нет напряженных отношений

<sup>1</sup> Описание болезни. — *Примеч. пер.*

между художниками-новаторами и публикой, потому что никто не защищает порядок и традиции. Модернистское бунтарство стало обыденным явлением, «в художественной среде лишь немногие выступают против полной свободы, против бесконечного экспериментирования, против не знающей удержку чувственности, против инстинкта мятежа, против воображения, отказывающего критикам в разумности» (с. 63). Налицо трансформация публики, которая утверждает, что гедонизм в начале нынешнего века благодаря массовому потреблению стал главной ценностью нашей культуры: «Либеральный менталитет, который преобладает в наше время, считает идеалом культуры модернистское движение, согласно идеологии которого душевные порывы должны стать способом поведения» (с. 32). Именно в это время в постмодернистской культуре возникает явление, которое, по Д. Беллу, наблюдается тогда, когда авангард более не вызывает возмущения, когда новаторские поиски становятся законными, когда наслаждение и стимуляция ощущений рассматриваются как господствующие. В этом смысле постмодернизм выглядел как демократизация гедонизма, как всеобщее признание новаторства, как торжество «антиморали и антиинституционализма» (с. 63) и окончание разлада между художественными и нехудожественными категориями.

Однако постмодернизм одновременно означает возникновение экстремистской культуры, доводящей «до крайности логику модернизма» (с. 61). Именно в 1960-е годы постмодернизм проявил свои главные особенности наряду с культурным и политическим радикализмом и подчеркнутым гедонизмом. Студенческие волнения, антикультура, мода на марихуану и ЛСД, сексуальная свобода, а также порно и поп-фильмы и публикации, смакование насилия и жестокость в спектаклях, — в результате для всех наступает день

освобождения, удовольствий и секса. Массовая гедонистическая и галлюциногенная культура, которая, по всей видимости, не является революционной, «в действительности, было просто развитием гедонизма в 1950-е годы и результатом распушенности, которая была свойственна некоторым представителям высшего общества» (с. 84). Вот почему 1960-е годы означают «начало и конец» (с. 64). Конец модернизма: движение 1960-х явилось последней акцией наступления на пуританские и утилитарные ценности, последней атаккой культурной революции, на этот раз массовой. Но в то же время это было возникновением постмодерна, лишенного подлинного новаторства и смелости, который довольствовался тем, что демократизировал гедонистическую логику, сделал радикальной тенденцию к поощрению «скорее самых низменных, чем самых благородных наклонностей» (с. 130). Как станет понятно, именно неопуританское чистоплюйство лежит в основе «рентгеноскопии» постмодернизма.

Несмотря на эту очевидную ограниченность и неубедительность доводов, Д. Белл подчеркивает его суть, признавая за гедонизмом и потреблением, которое является его показателем, центр модернизма и постмодернизма. Чтобы охарактеризовать общество и современного индивида, он приводит более убедительный, чем ссылки на потребление, довод: «Подлинная революция в модернистском обществе произошла в двадцатые годы, когда массовое производство и значительный рост потребления начали преобразовывать жизнь среднего класса» (с. 84). Что еще за революция? Для Д. Белла она ассоциируется с гедонизмом, с изменением ценностей, которое привело к структурному кризису буржуазное общество. Не принижается ли в какой-то степени историческая работа, посвященная потреблению, проблематикой, где оно уподобляется идеологической революции, культуре, которая пребы-

вает в состоянии хаоса. Революция потребления, которая достигнет своего полного размаха лишь после окончания второй мировой войны, по нашему мнению, имела гораздо более важное значение: по существу, оно состоит в окончательном достижении вековой цели, а именно в полном контроле над обществом и во все более полном освобождении личности, ныне оказавшейся придатком системы всеобщего самообслуживания, в смене мод, в изменчивости принципов, ролей и статусов. Расширяя возможности индивида, узаконивая его стремление к самоутверждению, обрушивая на него поток образов, информации, культуры, общество благосостояния привело к его радикальному расслоению или десоциализации, которая несоизмерима с той, что в XIX веке была обусловлена обязательным обучением, призывом в армию, урбанизацией и индустриализацией. Эра потребления не только дискредитировала протестантскую этику, она покончила с обычаями и традициями, создала национальную, а вернее, интернациональную культуру, основываясь на удовлетворении потребностей и необходимости в информации, оторвала индивида от местной среды и стабильности повседневной жизни, от существовавшего с незапамятных времен отношения к вещам, к другим людям, к своему телу и самому себе. После экономических и политических революций XVIII и XIX вв. вслед за революцией в искусстве в начале нынешнего века происходит революция будней. Отныне человек стал открыт для восприятия всего нового, он готов без сопротивления к перемене образа жизни, он стал «кинетичным»: «Массовое потребление означало, что в важной области — образе жизни — индивид принимал идею социальных перемен и личного преобразования» (с. 76). В мире вещей, рекламы, СМИ повседневная жизнь и сам индивид утрачивают свою весомость, поскольку они захвачены

процессом смены мод и их ускоренного обветшания: окончательная реализация индивида совпадает с его десубстанциализацией, с появлением плавающих частей, выбитых при крутообороте моделей и вследствие этого постоянно возобновляемых. Таким образом, падает последняя преграда, которая еще сопротивлялась проникновению бюрократии, научному и техническому управлению человеческими поступками, контролю нынешних властей, которые повсюду ликвидируют традиционные формы общения и обеспечивают всем необходимым для повседневной жизни людей, вплоть до удовлетворения их желаний и насущных потребностей. Налицо гибкий, а не механический тоталитарный контроль; потребление способствует соблазну, индивиды, несомненно, принимают вещи, моды, формулы развлечений и досуга, разработанные специализированными организациями, но по их прихоти, соглашаясь с одним, но не с другим, комбинируя то, что им предлагают. Общее руководство, занимающееся повседневными задачами, не должно упускать из виду частной сферы, становящейся все более персонализированной и независимой; потребление вписывается в обширную современную схему раскрепощения личности, с одной стороны, и тотального и детализированного управления обществом — с другой.<sup>1</sup> Быстрота передачи вещей и сообщений способствует самоопределению людей в их частной жизни; но в это же время общество утрачивает свою былую самостоятельность и весомость, все чаще становясь объектом всеобщего бюрократического программирования: по мере того как повседневная жизнь «вырабатывается» во всех де-

<sup>1</sup> Укрепление личной независимости аналогичным образом шло рука об руку с усилением роли современного государства. См.: *Гоше М.* Права человека не являются политикой (*Gauchet M.* Les droits de l'homme ne sont pas une politique. *Le Débat.* 1980. N 3. P. 16—21).

талях ее творцами, перед индивидами увеличивается выбор товаров и услуг. Таков парадоксальный результат эпохи потребления.

Что сказать о массовом потреблении? Несмотря на его бесспорность, это понятие не лишено двусмысленности. Несомненно, доступность для любого обывателя автомобиля или телевизора, джинсов или кока-колы, регулярных путешествий на выходные дни или отпуска в августе — все это означает придание единообразия всем поступкам людей. Но очень часто мы забываем взглянуть на другую сторону этого явления: на подчеркивание особенностей, на беспрецедентную персонализацию личности. Конкретное предложение при огромном выборе сокращает время, устраняет конфликты, подчеркивает желание человека быть самим собой, совершенно самостоятельным и наслаждаться жизнью превращает каждого в «оператора», всегда имеющего возможность свободного выбора и комбинаций; оно-то и позволяет отличать одного индивида от другого. Налицо крайнее разнообразие поведения и вкусов, усиленное «сексуальной революцией», устранением социоантропологических перегородок по половому и возрастному признаку. В эпоху потребления сокращаются существующие истари различия между полами и поколениями; причем это происходит ради все большего разнообразия жизни людей, отныне освобожденных от предписываемых им ролей и строгих правил. Можно возразить на это, сославшись на «мятеж» женщин, «кризис поколений», рок и поп-культуру, драму лиц третьего и четвертого возраста, на все проблемы, заставляющие нас думать, что мы живем в исключительное время, когда отдельные группы абсолютны разобщены. Впрочем, социологи без всякого труда, не опираясь ни на какие статистические выкладки, эмпирическим путем укажут на такие расхождения; но при этом упускается из виду

самое любопытное — процесс *melting pot*,<sup>1</sup> постепенной ликвидации великих сущностей и социальных понятий не во имя однородности людей, а ради невиданной их раздробленности и разобщенности. Мужское и женское начала перемешиваются, утрачивая некогда четкие характеристики; гомосексуализм перестает считаться извращением; разрешено существование всех или почти всех сексуальных групп, создающих причудливые формы сожительства; поведение молодых и не слишком молодых людей за несколько десятилетий стало сближаться. С поразительной скоростью эти группы охватила культ молодости, возраста «пси», либерального образования, разводов, раскованного поведения, обнаженных грудей, игр и спорта, гедонистской этики. Несомненно, многочисленные движения протеста, вдохновляемые идеями равноправия, способствовали этой дестабилизации; но в большей степени именно изобилие товаров и поощрение потребности, гедонистические и либеральные ценности в сочетании с распространением противозачаточных средств, короче говоря, процесс персонализации — вот что привело к постепенному расшатыванию социальных устоев, к узаконению любых способов жизни, к победе самостоятельной личности, к праву быть полностью самими собой, к вкусу к персональности, который в конце концов привел к нарциссизму.

В обществе, где даже собственное тело, личное равновесие, свободное время подвержены влиянию большинства, индивиду постоянно приходится выбирать, брать на себя инициативу, быть осведомленным, критиковать качество продуктов, подвергаться прослушиванию и осмотру, сохранять себя молодым, ломать голову над самыми простыми проблемами: какую машину купить, какой фильм посмотреть, куда поехать в

<sup>1</sup> Тигель — *англ.* Здесь: процесс плавки. — *Примеч. пер.*

отпуск, какую книгу прочитать, какому режиму лечения следовать? Потребление заставляет человека самому заботиться о себе, наделая его чувством ответственности; оно представляет собой систему неизбежного участия вопреки обвинениям, выдвигаемым против общества спектакля и пассивности. В этой связи отметим, что при анализе выявленного Тоффлером противостояния между пассивным массовым потребителем и активным и независимым «поставщиком» слишком часто неверно оценивали эту историческую функцию потребления. Как бы к ней ни относиться, но эра потребления проявила и продолжает проявлять себя как фактор персонализации, то есть повышения ответственности людей, принуждая их к постоянному видоизменению своей жизни. Не следует переоценивать тот факт, что заинтересованные лица сами занимаются собственными делами: возложение ответственности и участие касаются лишь работы, но в еще более персонализированном порядке. По меньшей мере неразумно утверждать, что при таких условиях границы между производством и потреблением стираются;<sup>1</sup> об этом свидетельствует появление наборов *do-it-yourself*,<sup>2</sup> *kit*,<sup>3</sup> групп самообслуживания, *self-care*,<sup>4</sup> что отнюдь не указывает на «неизбежный конец» расширения рынка, специализации и мощных систем распространения товаров; это лишь до предела персонализирует характер потребления. Ныне изготовление полуфабрикатов, лечение, консультации сами оказались объектами покупки, но в рамках *self service*.<sup>5</sup> Не следует строить

<sup>1</sup> Тоффлер М. Третья волна (*Toffler A. La Troisième Vague*. Denoel, 1980. P. 333).

<sup>2</sup> Сделай сам — *англ.*

<sup>3</sup> Конструктор — *англ.*

<sup>4</sup> Самолечение — *англ.*

<sup>5</sup> Самообслуживание — *англ.*

иллюзий: логика рынка, специализация и бюрократизация задач не остановят их развития, если даже одновременно будут возникать островки творческой инициативы, взаимной помощи и обоюдных услуг, хотя и на ином уровне. Однако вряд ли прав Д. Белл, который считает потребление следствием сорвавшейся с цепи импульсивной неораспушенности. Общество потребления ограничивается поощрением потребностей и гедонизма, оно неотделимо от избытка информации, от культуры СМИ, от обеспечения связью. Мы большими дозами и молниеносно поглощаем телевизионные новости, медицинские, исторические и технические передачи, классическую или поп-музыку, туристические, кулинарные или психологические советы, интимные признания, кинофильмы: чрезмерное количество и быстрота сообщения, уйма сведений из области культуры и техники связи наряду с избытком товаров являются неотъемлемой частью общества потребления. С одной стороны, гедонизм, с другой — информация. Общество потребления, по существу, — это система, предназначенная для открытий или предостережений, средство образования, несомненно, *digest*,<sup>1</sup> но непрерывный. Цель — наслаждаться жизнью, но в то же время находиться в курсе событий, «быть подключенным», следить за собственным здоровьем, как об этом свидетельствует все возрастающее, доходящее до одержимости внимание к проблемам здоровья, сокращение числа обращений к врачам, появление множества популяризаторских изданий и информационных журналов, успех фестивалей, толпы туристов с камерами в руках, прогуливающих по залам музеев и среди исторических развалин. Если потребление избавляется от пуританства и авторитарности, оно делает это не ради иррациональной или импульсивной

<sup>1</sup> Сводка сведений в сжатой форме — *англ.*

культуры; еще надежнее внедряется новый тип «рациональной» социализации, конечно же, не благодаря ее содержанию, которое в значительной мере по-прежнему подвержено непредвиденным изменениям интересов личностей, а благодаря неукротимому желанию быть информированным, самому распоряжаться собой, предвидеть события, обновляться. Эра потребления десоциализирует индивидов и, соответственно, социализирует, в силу логики удовлетворения потребностей и необходимости в информации; это социализация без насилия, социализация мобильного типа. В процессе персонализации появляется информированный и наделенный ответственностью индивид, постоянный собственный «диспетчер».

Налицо наделение индивида полномочиями нового, можно сказать, нарциссического типа; тем не менее этот процесс сопровождается, с одной стороны, утратой побудительных мотивов к борьбе за общее дело, с другой стороны — раскованностью и дестабилизацией личности. Свидетельств тому множество: непринужденность в личных отношениях, культ естественного, возникновение свободных пар, эпидемия разводов, быстрая смена вкусов, ценностей и стремлений, этика терпимости и вседозволенности, но в то же время — всплеск психопатологических скандалов, стрессовых состояний и депрессивности: каждый четвертый за свою жизнь испытывает сильное нервное потрясение, каждый пятый немец лечится у психиатра, каждый четвертый страдает бессонницей. При таком положении дел нет ничего более неверного, чем признавать в них «одномерных людей», даже под вывеской неустойчивой приватизации. Неонарциссизм определяется разобщенностью, разрушением личности; в его основе — закон о мирном сосуществовании противоположностей. По мере вторжения в жизнь вещей и информации, спортивных и иных принадлежностей



индивид превращается в причудливый patchwork:<sup>1</sup> сочетание разных форм, олицетворение постмодернизма. Равнодушный в поступках и делах, освобожденный от моральных обязательств, индивид-нарцисс тем не менее склонен к душевным переживаниям и беспокойству; постоянно озабоченный своим здоровьем и рискующей жизнью на автомобильных дорогах и в городах; сформированный и информированный, обитающий в научном мире и тем не менее подверженный, хотя бы поверхностно, воздействию всяких «умельцев», медиков и гуру, эзотеризму, парапсихологии; скептически настроенный в отношении символов и идеологии и в то же время превосходный спортсмен и мастер на все руки; он испытывает аллергию к напряжению сил, строгим нормам и приказам, он задает их себе сам, соблюдая режим с целью похудения, занимаясь разными видами спорта, живя на колесах, в мистико-религиозных общинах; почтительный к смерти, держащий себя под контролем в отношениях с обществом и кричащий, блюющий, плачущий, бранящийся, подвергающий себя воздействию новых методов «пси»-терапии; неустойчивый, in,<sup>2</sup> созданный по образцам международной моды и защищающий язык шахтеров из какой-нибудь глубинки, религиозные или народные традиции. Вот в чем заключается персонализация нарцисса: мельчание собственного «Я», появление индивида, следующего несколько логикам, похожим на выстроившиеся впритык клетушки поп-артистов или пошлые и рискованные комбинации Адама.

Потребление представляет собой открытую и динамичную структуру: оно освобождает человека от социальной зависимости и ускоряет процессы ассимиляции и отторжения, создает колеблющихся и суетящих-

ся индивидов, нивелирует уровни жизни, при этом допуская максимальную индивидуализацию. Налицо модернизм потребления, управляемого процессом персонализации, причем одновременно с художественным авангардом или психоанализом выступающий против модернизма, господствующего в других сферах. Таков модернизм, сложный исторический феномен, выстраивающийся вокруг двух противоположных логик: одной — жесткой, единообразной, принудительной, второй — гибкой, переменчивой.

Налицо логика дисциплинарная и иерархическая. Она определяется следующим: порядок производства действует согласно строго бюрократической структуре, опирающейся на принципы научной организации труда («Principles of scientific management» Тейлора относятся к 1911 году); сфера политики имеет своим идеалом национальную централизацию и унификацию, революция и классовая борьба являются ее главными составными частями; к ее ценностям относятся бережливость, труд, старательность; образование обязательно и традиционно; сам индивид свободен, «интродетерминирован». Однако с конца XIX века, с наступлением эры потребления, появились системы, определяемые иным процессом — гибким, многоплановым, персонализированным. Можно сказать, что современная фаза развития общества характеризуется сосуществованием двух противоположных тенденций при явном преимуществе дисциплинарного и авторитарного порядка, просуществовавшего до 1950—1960-х годов. Постмодернистское общество возникло при ликвидации этой господствующей системы в тот момент, когда западное общество стало все чаще отвергать единообразные структуры и создавать персонализированные системы на основе потребности, выбора, связи, информации, децентрализации, участия. Постмодернистская эпоха ни в коем случае не явля-

<sup>1</sup> Лоскутное одеяло — *англ.*

<sup>2</sup> Участник всяких мероприятий — *англ.*

ется сверхчувственной; напротив, это спокойная, с элементами разочарованности, фаза модернизма, направленная к чрезмерной гуманизации общества, развитию неосязаемых структур, модулированных в зависимости от индивида и его желаний к нейтрализации классовых конфликтов, охлаждению разгоряченного революционного воображения, ее сопровождает растущая апатия, десубстанциализация нарциссов, частичная реабилитация прошлого. Постмодернизм представляет собой исторический процесс с тенденцией к возврату к персонализации, который продолжает привлекать к себе новые сферы, в первую очередь воспитание, образование, досуг, спорт, моду, отношения между людьми, включающие секс, информацию, труд; причем этот последний — далеко не самый показательный. Впрочем, эта тенденция противоположна той, которая заставила Д. Белла говорить о постиндустриальном обществе, то есть обществе, основанном также не на серийном производстве промышленных товаров и на участии рабочего класса, но на примате теоретических знаний при технико-экономическом развитии, наличии сектора услуг (включая информацию, здравоохранение, просвещение, научные исследования, культурную деятельность, досуг и т. д.), на специализированном классе «профессионалов и техников». Две схемы — постиндустриального общества и общества постмодерна — не совпадают, хотя обозначают сопутствующие движения исторического преобразования; первое из них ставит во главу угла новую социопрофессиональную структуру и новый образ экономики, сущность которой — наука; второе, в том виде, в каком мы будем его использовать, не ограничивается, вопреки утверждению Д. Белла, областью культуры, но, напротив, подразумевает развитие нового способа социализации, процесс персонализации, который отныне

будет пронизывать почти все секторы нашего общества.

Не будучи оторванной от модернизма, постмодернистская эпоха характеризуется утверждением одной из его существенных тенденций, процесса персонализации и, соответственно, постепенным сокращением второй тенденции — дисциплинарного процесса. Поэтому мы не вправе придерживаться последних гипотез, которые во имя неопределенности и симуляции<sup>1</sup> или ради развенчания легенд<sup>2</sup> стараются воспринимать настоящее как совершенно неизвестный момент истории. Если мы ограничимся кратким периодом и упустим из виду историческую перспективу, то переоценим отрыв постмодернизма от прошлого и упустим из виду то, что он продолжает, хотя и используя другие средства, развитие современного демократическо-индивидуалистического общества. Подобно тому как художественный модернизм — проявление равенства и свободы, постмодернистское общество, возводя процесс персонализации в разряд господствующего образа жизни, реализует особенности модернистского мира. Мир вещей, информации и гедонизма гарантирует «равенство условий», поднимает жизненный и культурный уровень масс, хотя и подводит их под совсем крохотный общий знаменатель, освобождает женщин и сексуальные меньшинства, объединяет людей разного возраста под знаменами молодости, обезличивает оригинальность, информирует всех и каждого, ставит на одну доску бестселлер и Нобелевскую премию, одинаково трактует различные факты, технологическую находчивость и экономические

<sup>1</sup> Богуйар Ж. Символический обмен и смерть (Baudrillard J. L'Échange symbolique et la mort. Gallimard, 1976).

<sup>2</sup> Лиотар Ж.-Фр. Состояние постмодерна (Lyotard J.-Fr. La Condition post-moderne. Ed. de Minuit, 1979).

культбиты: иерархические различия неперестанно сглаживаются, уступая дорогу индифферентному миру равенства. На этом основании замена вывесок, порядок изображений представляют собой лишь последнюю стадию становления демократического общества. То же самое касается и постмодернистской науки и пространства ее принципов: «исследование гетероморфности игры слов в языке» утверждает в эпистемологии логику персонализации и работает над демократизацией и дестандартизацией истины, над уравниванием качества выступлений, отказом от значимости всеобщего консенсуса, утверждением в качестве принципа правила «бить первым». Мы наблюдаем расчленение крупных произведений, обеспечивающее равенство и раскрепощение индивида, в настоящее время освобожденного от террора мегасистем, от единообразия истины наряду с экспериментальной неопределенностью «временных контрактов» в полном соответствии со свойственными нарциссам дестабилизацией и обособленностью. Осуждение диктатуры истины является примечательной чертой постмодернизма: процесс персонализации устраняет ее крайнюю жесткость и надменность и стремится придать ей терпимый характер, утвердить право на отличие, особенность, многообразие подходов в науке, освобожденной от всяческих высших авторитетов, от всяких ссылок на реальность. Наблюдается слияние прямолинейности истины с переменчивостью гипотез и многочисленных миниатюризированных языков. Налицо тот же гибкий процесс, который либерализует нравы, сокращает число соперничающих групп, устраняет единообразие моды и поступков, поощряет нарциссизм и подрывает истину: постмодернистская наука, разнообразие и дисперсия языков, неопределенность теорий — все это лишь проявления повсеместного потрясения основ, которое выводит нас из дисципли-

нарной эпохи и которое при этом разрушает логику западного homo clausus.<sup>1</sup> Лишь в этой обширной демократической и индивидуалистической схеме преэминентности вырисовывается своеобразие постмодернистского периода, а именно верховенство индивидуального начала над всеобщим, психологии над идеологией, связи над политизацией, многообразия над одинаковостью, разрешительного над принудительным.

По словам Токвиля, демократические народы испытывают «более пылкую и прочную любовь к равенству, чем к свободе»;<sup>2</sup> мы вправе спросить себя, не произвел ли глубокие перемены в этой последовательности процесс персонализации. Несомненно, требования равноправия по-прежнему выдвигаются, но наряду с ними раздается еще более существенное, более настоятельное требование — требование личной свободы. Процесс персонализации породил множество требований предоставления свободы, что проявляется во всех сферах, в половой и семейной жизни (секс на выбор, либеральное воспитание, child-free, в одежде, танцах, физической и художественной культуре (свободные занятия спортом, импровизация, свобода самовыражения), в общении и образовании (независимые радиостанции, самостоятельная работа), в страсти к развлечениям и увеличению свободного времени, в новых способах лечения, цель которых — освобождение своего «Я». Даже групповые требования продолжают формулироваться в категориях идеальной справедливости, равенства и социального признания; это объясняется желанием жить более свободно, что находится поистине массовый отклик. В настоящее время люди

<sup>1</sup> Десоциализированный человек — *лат.*

<sup>2</sup> Де Токвиль А. Демократия в Америке / Пер. с фр. М.: Прогресс, 1994.

чаще мирятся с социальным неравенством, чем с претензиями, касающимися частной сферы; они в той или иной степени допускают власть технократии, доляясь относительно к властной и научной элите, но противятся регламентированию их желаний и нравов. Обратная тенденция в пользу процесса персонализации привела к своей кульминационной точке стремление к освобождению личности, вызвала изменение приоритетов в устремлениях людей; идеал индивидуальной независимости — это большое достижение постмодернистской эпохи.

Д. Белл справедливо подчеркивает, что центральное место в современной культуре занимает гедонизм, однако он не видит перемен, которые претерпела эта философия после шестидесяти годов. После триумфа, «доходившего до оргазма», когда успех ассоциировался с обладанием вещами, мы вступили в фазу разочарований, когда качество жизни возобладало над количественными результатами; сам гедонизм стал персонализироваться и ориентироваться на «пси»-нарциссизм. В этом смысле шестидесятые годы явились поворотными. С одной стороны, как отмечает Д. Белл, тогда действительно оформилась гедонистская этика: яростное сопротивление пуританству, отчуждению труда, массовая эротическо-порнографическая культура, вторжение психопатических преступных псевдогероев. Но, с другой стороны, это десятилетие выдвигает на первый план умеренные идеалы: осуждение потребительской всеядности, критику урбанизированной и стандартизированной жизни, агрессивности и нарпористости, психологическое оправдание классовой борьбы, объединение самоанализа и анализа собственного «Я» в социальную критику, желание «изменить жизнь», непосредственно трансформируя отношения к себе и другим людям. Не знающее пределов наслаждение жизнью, разврат, расстройство чувств —

ничто из этого не представляет собой ни образ, ни возможное будущее нашего общества; интерес к психопатическим натурам пропал, и «желание» вышло из моды. Культ духовности, «пси» и спортивного развития заменил собой контркультуру, feeling — состояние неподвижности; толерантная и экологическая<sup>1</sup> «простая жизнь» заняла место страсти к обладанию; нетрадиционная медицина, основанная на применении медитации, трав, наблюдение за собственным организмом и своими «биоритмами» указывают на диетанцию, которая отдаляет нас от hot<sup>2</sup> гедонизма в первоначальном его варианте. Постмодернизм склонен к утверждению равновесия, человечности, возврату к самому себе, даже если он сосуществует с жесткими и экстремистскими явлениями (наркомания, терроризм, порно, панк-культура). Постмодернизм синкретичен, одновременно равнодушен и жесток, толерантен, «пси» и отличается своим максимализмом; кроме того, он представляет собой сосуществование противоположностей, именно оно характерно для нашего времени, а не нравы поколения хиппи. Героический период гедонизма миновал; ни целые страницы объявлений о спресе и предложениях разнообразного эротического обслуживания, ни большое количество читателей сексологических журналов, ни беспрепятственная публикация материалов о всяческих «извращениях», которые пользуются популярностью у многих, не могут объяснить неуклонный рост примитивного гедонизма. Не столь очевидные признаки свидетельствуют о заметной трансформации ценности наслаждения: в США группы мужчин требуют права объявлять себя импотентами; сексология, едва успев-

<sup>1</sup> Рошак Г. Человек-планета (*Roszak Th. L'Homme-planète*, Stock, 1980. P. 460—464).

<sup>2</sup> Горячее — англ.

шая приобрести статус науки, обвиняется в агрессивности, если не терроризме, из-за проповедуемого ею императива наслаждений; мужчины и женщины вновь открывают для себя такие добродетели, как молчаливость и отшельничество, уход во внутренний мир и аскеза, присоединение к монастырским братствам и иночество. Наслаждение жизнью, как и другие моменты, также не избежало безразличного к себе отношения. Наслаждение лишается своего вредоносного содержания, его контуры размываются, его преимущественное значение обезличивается; оно включается в цикл гуманизации в обратной пропорции к гипертрофированному техническому языку, в который оно облекается в специализированных журналах; отныне появляется столько же сторонников секса, сколько и его противников; налицо потребность в эротике и потребность в общении; разврат и медитация тесно переплетаются между собой или же существуют вместе без конфликтов и противоречий. Появляется множество «образов жизни», наслаждение имеет лишь относительную ценность, равноценную возможности общения, душевному покою, здоровью или медитации. Постмодернизм отменяет обвинения во вреде модернистских ценностей; отныне в культуре царит эклектика.

В этот эпохального значения период нет ничего более странного, чем так называемое возвращение святых: популярность целомудрия и восточных религий (Дзен, таоизм, буддизм), эзотерических верований и европейских традиций (каббала, пифагорейство, теософия, алхимия). Интенсивно изучаются Талмуд и Тора в йешишивах, множатся секты; несомненно, речь идет о феномене более чем постмодернистском, вопреки провозглашенному столпами Просвещения прорыву в связи с возникновением культа разума и прогресса. Неужели кризис модернизма вызвал сомнения

в его неумении решать фундаментальные проблемы жизни, в его неспособности уважать многообразие культур и принести всем мир и благополучие? Что это, возврат к свойственному Западу сопротивлению именно тогда, когда нет никакого смысла его оказывать? Протест индивидов и групп против глобальной стандартизации? Альтернатива страху сорваться с места, возвращающая назад верования прошлого?<sup>1</sup> Признаемся, что подобные утверждения не убеждают. Следовало бы поставить на свое законное место нынешнее увлечение разными сакральностями. Результатом процесса персонализации является беспрецедентный откат от духовности. Современный индивидуализм непрестанно подрывает основы религии: в 1967 году во Франции 81 % молодых людей от 15 до 30 лет утверждали, что верят в Бога; в 1977 году их число снизилось до 62 %, а в 1979 году лишь 45,5 % студентов заявили, что они верующие. Более того, сама религия подвержена процессу персонализации: люди верят, но выборочно; сохраняют одну догму, но отменяют другую, путают Евангелие с Кораном, дзеном или буддизмом; духовность оказалась втянутой в калейдоскоп супермаркетов и самообслуживания. Turn over,<sup>2</sup> дестабилизация отнесли сакральность к тому же разряду, что и труд-или мода: какое-то время обыватель — христианин, какое-то — буддист, несколько лет — последователь Кришны или Магараджи Джи. Духовное возрождение происходит не благодаря драматическому отсутствию смысла, оно не является следствием сопротивления засилью технократов, а возникает в результате постмодернистского индивидуализма при возврате к гибкой логике. Увлечение

<sup>1</sup> Гогубер П. От культурного к святому (Gaudibert P. Du culturel au sacré. Casterman, 1981).

<sup>2</sup> Переворот — англ.

вопросами религии неотделимо от десубстанциализации нарциссов, от «колеблющегося индивида», ищущего самого себя, но без самоистязания и веры, скажем, в могущество науки. Оно того же порядка, что и мимолетные, но тем не менее сильные увлечения той или иной диетической или спортивной методикой. Представляя собой потребность обрести или уничтожить себя, как и сам предмет исследования или поклонения, превозношение межличностных отношений или личной медитации, допуская чрезмерную терпимость и хрупкость, признавая самые мощные императивы, неомистицизм участвует в персонализированной технологизации смысла и истины, «пси»-нарциссизма, несмотря на отсылки к Абсолюту, который при этом подразумевается. Отнюдь не противореча основной логике нашего времени, возрождение духовных потребностей и эзотерических ценностей всякого рода лишь завершает и дополняет богатый выбор и возможности частной жизни, допуская самые различные ощущения в соответствии с процессом персонализации.

### Бессилие авангарда

Художественный образ постмодернизма таков: выживший из сил авангарда топчется на месте и подменяет изобретательством наивное и бесхитрое вдохновение. Шестидесятые годы дали постмодернизму толчок, похожий на первый удар в футболе; несмотря на поднятую шумиху, они не «совершили никакого переворота в эстетических формах» (с. 132), за исключением нескольких новаторских приемов в романе. Впрочем, искусство обезьянничает, копируя у новаторов прошлых лет насилие, жестокость и кроме того добавляет много шума. По мнению Д. Белла, искусство

утрачивает всякое чувство меры, окончательно стирает границы между вымыслом и жизнью, отказывается сохранять дистанцию между зрителем и событием, стремясь добиться немедленного эффекта (акции, хеппининги, living theatre.<sup>1</sup> Шестидесятники хотели «отыскать примитивные корни порывов» (с. 150); иррационалистская чувствительность развернулась во всю ширь, требуя больше сенсаций, шокирующих эффектов и эмоций, как это происходит в body art<sup>2</sup> и ритуальных спектаклях Г. Ниша. Художники отказываются соблюдать законы искусства, идеалом для них становится «натуральность», спонтанность; они занимаются импровизацией на скорую руку (Гинзберг, Керуак). Излюбленной темой литературы является сумасшествие, подлость, моральная и сексуальная распущенность (Берроуз, Гиота, Селби, Мейлер): «Новая чувствительность — это реванш, победа чувства над духом» (с. 39), снимаются все запреты во имя свободы, разнузданности и непристойности, ради инстинктивного прославления личности. Постмодернизм — это всего лишь современный синоним морального и эстетического упадка. Мысль ничуть не оригинальная: еще в начале пятидесятых Г. Рид писал: «Творчество молодежи представляет собой лишь запоздалый отклик взрывов, прозвучавших в тридцатые или сороковые годы».

Заявлять, что авангард страдает бесплодием еще с 1930-х годов, конечно же, несправедливо, этому можно было бы противопоставить ряд творческих и оригинальных течений. При всем при том, несмотря на допущенное преувеличение, с авангардом, особенно в наши дни, связана действительно важная социологическая и эстетическая проблема. Настоящие про-

<sup>1</sup> Живой театр — англ.

<sup>2</sup> Искусство тела — англ.

ры становятся все более редкими, впечатление «Я это уже видел» преобладает над новизной, происходящие перемены однообразны, ни у кого нет ощущения, что мы переживаем революционную эпоху. Впрочем, этот упадок творческих способностей у авангардистов совпадает с проблематичностью выдавать себя за таковых: «Мода на всякие „измы“ сегодня прошла» (с. 113). Трескучие манифесты начала века, великие провокации давно приелись. Но ошибка, появившаяся у авангарда, не означает, что искусство мертво, что у художников больше нет воображения: просто самые интересные произведения не к месту, их авторы больше не стремятся к поиску новых средств, становясь скорее «субъективными» ремесленниками, одержимыми своими идеями, а не поисками, в лучшем смысле, нового. Подобно участникам жесткого революционного диспута или «героям» политического террора, авангардисты толкут воду в ступе, продолжают экспериментировать, но с ничтожными, одинаковыми или не представляющими интереса результатами, границы, которые они преодолевают, несущественны; искусство находится на стадии упадка. Несмотря на напыщенные фразы, в искусстве больше не существует образца для перманентной революции. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть некоторые «экспериментальные» фильмы: действительно, их авторы вырвались за пределы коммерческого интереса или повествования-изображения, но лишь для того, чтобы впасть во временной пробел, в экстремизм планов и их продолжений, где все застыло в неподвижности, в экспериментирование — не как поиск, а как образ действия. Ж.-М. Строб до изнеможения снимает однообразные картины; А. Вароль уже снимал спящего человека в течение шести с половиной часов и небоскреб Эмпайр стейт билдинг — в течение восьми часов, при-

чем продолжительность фильма совпадала с реальным временем. Эту манеру можно было бы назвать кинематографией ready-made;<sup>1</sup> на этом различии и сыграл Дюшан, дискредитировав понятие о том, что такое творчество, ремесло и художественное чутье. Зачем-то понадобилось все начинать сначала спустя шестьдесят лет. Продолжительность фильма стала больше, а содержание юмора — меньше. Эпизод с тассуаром — признак смятения, деградации авангарда. Признаться, гораздо больше экспериментаторства, неожиданности и смелости мы видим в фигуре меломана с наушниками, в видеоиграх, в парусной доске, в рекламных клипах, чем во всех авангардистских фильмах и всех антиконструкциях, следующих принципу «так-сяк» в отношении качества сценария и диалогов. Положение постмодернизма таково: искусство более не является вектором революции, оно утрачивает свою роль первопроходца, не вносит струи свежего воздуха, истощая свои силы в стереотипности радикализма. Здесь, впрочем, как и везде, его герои устали от жизни.

Именно в этот момент по ту сторону Атлантики, а затем и в Европе завоевывает популярность, процветает движение так называемого постмодернизма, который обращает на себя внимание, с одной стороны, критикой увлеченности идеалами новаторства и революционности любой ценой, с другой стороны, возвратом к модернизму. Это тяга к традициям, местному колориту, декоративности. Сначала архитекторы, а затем и художники выступают против авангарда, которому свойственны идеи элитарности, терроризма, суровости. Так возник постмодернизм или, скорее, пост-авангардизм. В то время как модернизм был эксклюзивен, «постмодернизм стал настолько инклюзивен, что

<sup>1</sup> На заказ — англ.

готов включить в ряды союзников своего заклятого врага — пуризм, когда это кажется ему оправданным».<sup>1</sup> Постмодернизм не связан с созданием какого-то нового стиля, он включает в себя все стили, в том числе самые современные: он перелистывает страницы искусства, и традиции становятся живым источником вдохновения наряду с новыми идеями. А искусство модернизма представляется ему как одна из традиций. В результате ценности, которые было запрещено показывать при свете дня, выдвигаются на первый план, в противоположность модернистскому радикализму. Преобладают эклектизм, разнородность стилей в пределах одной и той же работы, украшательство, метафоричность, развлекательность, провинциализм, приверженность к исторической памяти. Постмодернизм выступает против одномерности модернистского искусства и обращается к фантастическим, бездумным, гибридным произведениям: «Самые характерные творения постмодернизма, по сути, свидетельствуют о явном раздвоении личности, преднамеренной шизофрении».<sup>2</sup> Постмодернистский ревизионизм неотделим от всеобщего увлечения стилем «ретро», но его теоретическое обоснование указывает на то, что его значение не исчерпывается обыкновенной ностальгией по прошлому.

Суть в ином: задача постмодернизма состоит не в разрушении новых форм, не в возрождении прошлого, а в мирном сосуществовании стилей, в разрешении спора между традиционностью и модернизмом, в устранении противоречий между национальными и интернациональными интересами, в ослаблении жесткого противостояния сторонников наглядности и

абстракции изображения, короче говоря, в разрядке художественного пространства наряду с созданием общества, где жесткие идеологические взгляды более не воспринимаются, где общественные институты движутся к выбору, к участию различных идей, где смешиваются роли и личности, где индивид раскрепощен и толерантен. Было бы упрощением усматривать тут вечную тягу капитала к быстрому обогащению или даже образ «пассивного нигилизма», как об этом писал один из современных критиков. Постмодернизм — это регистрация и демонстрация процесса персонализации, который, отвергая все виды исключительности и менторства, подменяет свободным выбором ограничительные рамки, набором фантастических идей — жесткость «верного курса». Интерес, вызываемый постмодернизмом, заключается в том, что он разоблачает модернистское искусство (которое, впрочем, первым приняло открытую логику) как пережиток тоталитарной эпохи, основываясь на авангардистских ценностях, объединенных единой конечной целью. Модернистское искусство было сочетанием компромиссов, «противоречивым» творением футуристического «терроризма» и тонкой персонализации. Цель постмодернизма заключается в устранении этого антагонизма, в освобождении искусства из его дисциплинарно-авангардистского окружения и создании произведений, подвластных лишь процессу персонализации. В результате постмодернизм ожидает та же судьба, что и наше открытое постреволюционное общество: рост личных возможностей выбора решений и их комбинаций. Подменяя включением исключение, узаконивая все стили всех эпох, художественное творчество более не обязано преклоняться перед интернациональным стилем, оно видит собственные источники вдохновения, свои комбинации, число которых множится до бесконечности: «Эклек-

<sup>1</sup> Женкс С. Язык постмодернистской архитектуры (Jencks C. Le Language de l'architecture post-moderne. Denoël, 1979. P. 7).

<sup>2</sup> Там же. С. 6.



тизм — это естественная тенденция культуры, свободной в своем выборе».<sup>1</sup> В начале века искусство было революционным, а общество — консервативным; это состояние стало меняться по мере изживания авангарда и в связи с потрясениями, вызванными в обществе процессом персонализации. До нашего времени общество, нравы, сам человек изменяются гораздо быстрее, решительнее, чем авангард: постмодернизм — это попытка вдохнуть живую струю в искусство, смягчить и упростить правила работы над созданием уже ставшего гибким общества, в котором увеличен выбор и уменьшено то, что подвергается наказанию.

Проповедуя вклад культурного наследия и *ad hoc*<sup>2</sup> синкретизма,<sup>3</sup> постмодернизм выступает под знаком

<sup>1</sup> Женкс С. С. 128.

<sup>2</sup> Данный — лат.

<sup>3</sup> Любопытно отметить, что это процесс, противоположный тому, что, по-видимому, ожидает в будущем философию. Шестидесятые годы и начало семидесятых — годы авангардизма: синкретизм на повестке дня, с ним связано уничтожение всякого рода границ, сфер и концепций, наведение мостов между отдельными дисциплинами и противоположными теориями. Его концепция подразумевает стратегию открытости и дестабилизации. В нее входят фрейдомарксизм, структуромарксизм, структуралистский фрейдизм, антипсихиатрия, психоанализ, экономика «либидо» и т. д. Философия отказывается от замкнутости и приобретает «кочевой» характер. Эта необычная и революционная фаза, похоже, сменяется другой, когда дисциплина вновь утверждает себя, а философия возвращает свою территорию и вновь обретает «девственность», чуть было не утраченную в контакте с гуманитарными науками. Художественный постмодернизм полон юмора, «интеллектуальный» постмодернизм сдержан и суров, он держится особняком и более не находит для себя образца, как это происходило в «безумные годы» в искусстве или в сексе. Приклеивание ярлычков снова на повестке дня. Художественный постмодернизм возобновляет связи с музеями; философский постмодернизм следует его примеру, но ценой исключения из сферы своих интересов истории и общественных про-

четко выраженного изменения ценностей и перспектив, расхождения с модернистской логикой. Между тем во многих отношениях это скорее мнимое, чем подлинное разногласие. С одной стороны, постмодернизм по своему замыслу обязан заимствовать у модернизма его сущность, а именно тенденцию к разрушению всех связей; разрыв с модернизмом может произойти лишь путем утверждения каких-то новых ценностей; мы наблюдаем реинтеграцию прошлого, что вполне соответствует модернистской логике. Но не нужно строить иллюзий: культ нового никто не отвергает и не намерен отвергать. В крайнем случае все произойдет плавно и без потрясений. С другой стороны, влияние модернизма заключалось в том, что постоянно использовались новые сюжеты, материалы и механизмы. Однако, приняжая или демократизируя эстетику, постмодернизм лишь делает дополнительный шаг в этом направлении. Отныне искусство признает все самые немислимые музеи, узаконивает историческую память, одинаково относится к прошлому и настоящему, допускает сосуществование всех стилей. Сохраняя в этом смысле верность модернизму, постмодернизм отличается открытостью и расширением границ. Наконец, утверждая, что далек от авангардистского культа новизны, постмодернизм отказывается от высшего революционного идеала, отвергает элитарность модернизма и намеревается удовлетворять вкусы публики, продолжая при этом утешать художников: искусство оказывается лишенным революционной направленности и иерархичности, нару-

блем, вновь относя их к разряду сугубого эмпиризма. С новыми силами на арене появляется мысль о существовании и желанности метафизики; но это не *tema*,<sup>4</sup> а философское подтверждение эры нарциссизма.

<sup>4</sup> Переделка — англ.

шающей выровненный строй стратегии эгалитарности. Постмодернизм лишь внешне напоминает разрыв с традициями, он довершает демократическое обновление искусства, продолжая работу по ликвидации отстраненности, всячески способствует персонализации открытого творчества, впитывая в себя все стили, одобряя самые немислимые сочетания и дестабилизируя представления об искусстве.

Постмодернизм навсегда останется связанным с демократизмом и индивидуализмом в искусстве. Художники *new wave*,<sup>1</sup> течения «Свободные статисты» заявляют, что выступают против авангарда, отказываются участвовать в гонках за новизной, претендуют на право быть самими собой — вульгарными, пошлыми, бесталанными, — право свободно выражать свои мысли, черпая из всех источников и не претендуя на оригинальность: *bad painting*.<sup>2</sup> Лозунг «Надо быть полностью современным» заменен другим свойственным нарциссам лозунгом: «Надо быть полностью самим собой», а его реализация осуществляется в рамках вялого эклектизма. Остается желать лишь одного — искусства без претенциозности, без надменности и замысловатости, свободного, естественного, представляющего собой образ самовлюбленного и безразличного общества. Демократизация и персонализация осуществляются в обстановке неустойчивого и либерального индивидуализма. Искусство, мода, *pub*<sup>3</sup> перестают отличаться друг от друга, производя приблизительно один и тот же неопределенный или необычный эффект: новым является именно то, что нет желания им больше быть; чтобы быть новым, необходимо насмеяться над новизной. Эта заметная особенность пост-

<sup>1</sup> Новая волна — *англ.*

<sup>2</sup> Плохая живопись — *англ.*

<sup>3</sup> Пивная — *англ.*

модернизма дает нам возможность изучить явление, даже если оно еще не произошло, превратить в оригинальность прежний обет не быть оригинальным; постмодернизм утверждает здесь пустоту и повторение задов, ориентируется на публикации, где одного лишь безапелляционного утверждения, что это — «класс», достаточно, чтобы констатировать любой факт, далекий от действительности. Операция «трансавангард» (В. Олива) или «свободные статисты» даже не имеет ничего общего с «пассивным нигилизмом», ни о каком отрицании речь тут не идет. Налицо процесс десубстанциализации, который открыто захватывает искусство из-за всеобщего равнодушия, из-за ширящейся пустоты. Подобно крупным идеологическим направлениям, искусство, будь оно предметом устремлений авангарда или «трансавангарда», подчиняется той же логике пустоты, моды и требований рынка.

В то время как официальное искусство вовлечено в процесс демократизации, не перестает усиливаться тяга к художественному творчеству: постмодернизм означает не только упадок авангардизма, но и распространение и увеличение очагов искусства. Возникает множество любительских театральных трупп, групп исполнителей рок- или поп-музыки, увлечение фото- или видеосъемкой, страсть к танцам, различным искусствам и ремеслам, тяга к освоению инструментов и литературному творчеству — эта одержимость может сравниться лишь с интересом к спортивным занятиям и путешествиям. Чуть ли не каждый стремится к самовыражению; мы действительно оказались вовлеченными в процесс персонализации культуры. Модернизм представлял собой этап революционного творчества бунтующих художников, постмодернизм — это этап свободного самовыражения, доступного всем. Когда появилась возможность приобщить массы к великим произведениям культуры, то оказалось, что уже

произошла спонтанная и реальная демократизация творческой практики, которая пришлась по вкусу самовлюбленному нарциссу, жадно стремившемуся к самовыражению, к творчеству, шла ли речь о сдержанных манерах, изменчивых пристрастиях, зависящих от времени года, о тяге к искусству, начиная с игры на гитаре и рисунков углем до современных танцев и игры на синтезаторе. Несомненно, эта массовая культура стала возможной благодаря процессу персонализации, освобождающему уйму времени, предоставляющему каждому возможность выразить себя и оценить радость творчества. Самое удивительное то, что авангард также внес сюда свою лепту, непрерывно экспериментируя с новыми материалами и техническими приемами, принижая роль ремесла в пользу воображения и свежести замысла. Модернистское искусство до такой степени подорвало эстетические нормы, что может возникнуть художественное поприще, чьи изобразительные возможности станут доступны для всех. Авангард обеспечил появление и реабилитацию любых исследований искусства и выпадов в его адрес, он провел борозду, обозначающую границы поля, предоставленного массам для их художественного самовыражения.

### Кризис демократии?

Если художественный модернизм более не нарушает социальный порядок, то иначе обстоит дело с массовой культурой, в основе которой лежит гедонизм, все чаще вступающий в конфликт с технико-экономическим строем. Гедонизм — это культурное противоречие капитализма: «С одной стороны, руководство предприятия требует, чтобы индивид трудился до усталости, свыкался с мыслью о более позднем вознагражде-

нии и компенсации, словом, чтобы он был винтиком машины. С другой стороны, руководство предприятия поощряет наслаждения, расслабленность, распущенность. Выходит, нужно быть сознательным трудягой днем и прожигателем жизни ночью» (с. 81). Именно эти разногласия, а не противоречия, присущие способу производства, объясняют возникновение всяческих кризисов капитализма. Подчеркивая противоречие, существующее между иерархическо-утилитарным экономическим порядком и гедонистским порядком, Д. Белл без тени сомнения признает существующие проблемы, с которыми ежедневно сталкивается каждый из нас. Более того, эта напряженность, по крайней мере в обозримом будущем, едва ли ощутимо ослабнет, независимо от появления многочисленных и гибких механизмов персонализации. Умеренность имеет здесь объективный предел: работа всегда требует усилий; условия, в которых она совершается, в отличие от развлечений, остаются жесткими, безличными и авторитарными. Чем больше у нас появляется свободного времени, персонализации, тем больше вероятность того, что работа покажется нам скучной, бессмысленной, похитившей у нас кусок личной жизни. Свободный график работы, надомный труд, job enrichment<sup>1</sup> — все это, вопреки оптимизму тех, кто верит в «третью волну», не слишком изменит характер нашего существования. Когда речь идет о работе, которая в тягостно, повторяющейся изо дня в день, монотонной, которая противоречит нашему желанию совершенствоваться до бесконечности, стремлению к свободе и досугу, именно сосуществование противоположностей, нарушение стабильности, разлад — вот что становится характерной чертой нашего времени.

<sup>1</sup> Обогащение за счет труда — англ.

## ДИКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ, СОВРЕМЕННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ

Тема жестокости почти не привлекала к себе внимания исторической науки, по крайней мере той, которая, несмотря на наслоение более или менее случайных событий, старается подвести историческую базу под движения с большой амплитудой, увидеть преемственность и ее нарушения, установить вехи в становлении человеческого общества. Между тем этот вопрос требует глубокого осмысления: в течение тысячелетий при возникновении резко отличающихся друг от друга общественных формаций насилие и война оставались главными *ценностями*, причем жестокость продолжала существовать на законных основаниях, как составляющая самых изысканных наслаждений. Что же изменилось? Каким образом общество, замешенное на крови, могло смениться обществом, в основе которого доброта, где насилие в отношении отдельных личностей носит анонимный характер, унижающий человека, а жестокость — явление патологическое? Такие вопросы не поощряются ввиду растущей мощи современных государств, в атмосфере взаимных угроз и гонки вооружений. Все происходит так, словно после периода, когда все внимание было обращено к сугубо экономическим или сугубо политическим проблемам, революция в человеческих отношениях, обусловленная появлением индивидуалистического общества, должна была оставаться второстепенным факто-

ром, не имеющим никакого значения и не стоящим интереса историков. Неужели после потрясений двух мировых войн, после нацистских и сталинских лагерей, повсеместного применения пыток, а теперь еще и всплеск преступной жестокости или терроризма, наши современники не желают признавать наличие продолжающихся в течение многих столетий изменений и отказываются рассматривать неужержимое движение к умиротворению общества, отбрасывая без надеждающего изучения гипотезу о роли страха смерти и классовой борьбы.

Иначе поступали великие мыслители XIX века, которые, подобно Токвилю и Ницше, если назвать только двух мыслителей, несомненно незнакомых друг с другом, хотя их обоих интересовал феномен растущей демократизации общества, не колебались бы поставить этот вопрос со всей прямотой, совершенно переносимой для современных ученых-однодневок. Позднее в работах Н. Элиаса, а затем П. Кластра, различных по своему уровню, такое исследование было возобновлено. Теперь его следует продолжить, а именно понять эволюцию жестокости в ее главных проявлениях: в деятельности государства, включая экономику, и в обществе, где эта жестокость видоизменяется в зависимости от его структуры. Сформулируем концепцию насилия. Если отстраниться от механистических работ, будь то политические, экономические или психологические, то можно определить **насилие как своеобразный тип поведения, свойственный любому социуму**. Что касается насилия и истории. Переступив через скептицизм эрудитов и паникерство статистиков, мы углубимся во тьму веков, выясним логику насилия и сделаем это, чтобы очертить, насколько возможно, границы современного насилия, хотя повсюду настойчиво твердят о вступлении западного общества в совершенно новую эпоху.

## Честь и месть: дикая жестокость

В течение многих тысячелетий существования человеческого общества в условиях дикости жестокость людей, которую нельзя объяснить с утилитарной, идеологической или экономической точки зрения, обуславливалась двумя взаимосвязанными причинами. Это честь и месть, суть которых нам трудно понять, поскольку они чужды логике нашего времени. Честь и месть — два императива, существующие с незапамятных времен, неотделимые от первобытного общества, от «холистических» (тоталитарных), а также эгалитарных обществ, где его отдельные члены подчиняются коллективному приказу и где «отношения между людьми гораздо важнее и ценятся гораздо выше, чем отношения между людьми и предметами».<sup>1</sup> Когда человек и экономическая сфера не существуют автономно и подчинены социуму с его кодексом чести, подразумевающим абсолютный примат общества, и обычаем мести, который, по сути, означает подчинение личного интереса интересу группы, невозможность разорвать цепь, соединяющую союзы и поколения, живых и мертвых, обязательство пожертвовать своей жизнью во имя высшего интереса клана или сообщества. Честь и месть прямо указывает на приоритет коллектива.

Будучи чертами примитивного общества, честь и месть являются кодексами крови. Там, где главенствует честь, жизнь стоит меньше, чем уважение общества; храбрость, презрение к смерти, умение бросить вызов противнику представляют собой добродетели, которые чрезвычайно высоко ценятся. Трусость же повсюду презирается. Кодекс чести учит мужчин у-

<sup>1</sup> Дюмон Л. *Homo aequalis* (Dumont L. *Homo aequalis*. Gallimard, 1977. P. 13).

\* Равноправный человек — *лат.*

верждаться с помощью силы, добиваться признания своих ближних прежде, чем обеспечивать их безопасность, сражаться насмерть, чтобы завоевать почет. В первобытном обществе честь диктует насилие. Никто не смеет под страхом потерять свое лицо стерпеть нанесенную обиду или оскорбление; ссоры, брань, ненависть, ревность гораздо чаще, чем в современном обществе, приводили к смертельному исходу. Воинственность примитивного общества не означает его неуправляемость и импульсивность, она обусловлена социальной логикой, способом освоения на бесознательном уровне кодекса чести.

Сама война в первобытном обществе неразрывно связана с кодексом чести, на основании которого каждый взрослый мужчина должен быть воином, быть мужественным и не бояться смерти. Более того, кодекс чести являлся движущей силой, общественным стимулом при ведении военных действий. Не экономическая целесообразность, а элементарное насилие в ряде случаев становится их причиной: война ради престижа, как сугубое средство добиться славы и известности, для чего захватывали разные символы, добычу, лошадей, пленных, снимали скальпы. Таким образом, как отметил П. Кластр, примат чести мог привести к созданию воинских братств, целиком посвятивших себя воинскому ремеслу, вынужденных постоянно бросать вызов смерти, творя чудеса храбрости, затеывая все новые и все более дерзкие кампании, которые неизбежно приводили к их гибели.<sup>1</sup>

Война в примитивном обществе тесно связана с кодексом чести и в той же мере связана с кодексом мести. Вооруженные конфликты вспыхивали с целью отомстить за обиду, смерть своего сородича или даже

<sup>1</sup> Кластр П. Несчастье воина-дикаря (*Clastres P. Malheur du guerrier sauvage* // *Libre*. 1977. N 2).

несчастный случай, рану, болезнь, приписанную злым чарам вражеского колдуна. Кодекс чести требовал пролить кровь противника; требовал, чтобы врагов мучили, увечили или ритуально пожрали. Именно кодекс чести требовал, чтобы пленный не пытался бежать, ведь его родичи и друзья достаточно храбры, чтобы отомстить за его смерть. А страх мести со стороны духов принесенных в жертву врагов требовал совершения ритуального очищения палача и его близких. Более того: мечь должна была распространяться не только на мужчин вражеского племени, но и на их жен и детей, которых следовало принести в жертву в отместку за гибель взрослого воина. Следует провести различие между примитивной мстью и войной, с которой она не имеет ничего общего. К примеру, в племени тупинамба пленник мог десятки лет жить совершенно свободно среди представителей сообщества, которые его схватили. Он мог жениться, пользоваться благосклонностью своих хозяев и их жен, как один из их односельчан. Однако это не мешало ему неизбежно стать ритуальной жертвой.<sup>1</sup> Мечь является социальным императивом независимо от чувств, испытываемых индивидом и его сородичами, независимо от личной виновности или ответственности; она обеспечивает порядок и соблюдение «симметрии» в мышлении дикарей. Мечь — это «противовес всех явлений, восстановление временно утраченного равновесия, гарантия того, что порядок в мире сохранится»,<sup>2</sup> и такое положение вещей нигде не должно быть надолго нарушено. Обычай мести составляет неотъемлемую часть примитивного общества, и мстью проникнуты все ве-

<sup>1</sup> Метро А. Религии и магии индейцев (*Métraux A. Religions et magies indiennes. Gallimard, 1967. P. 49—53*).

<sup>2</sup> Кламп П. Хроники индейского племени гуаяки (*Clastes P. Chroniques des Indiens Guayaki. Plon, 1972. P. 164*).

ликие деяния — как индивидуальные, так и коллективные, что же касается насилия, мечь — это то же самое, что для «созерцательного» мышления мифы и системы классификации. Повсюду она выполняет одинаковую функцию — упорядочивает космос и коллективную жизнь во имя отрицания исторического начала.

По этой причине недавно высказанные Р. Жираром взгляды, касающиеся насилия,<sup>1</sup> как нам представляется, имеют ложную основу: по сути, заявить, что жертвоприношение — это способ превращения нескончаемого процесса мщения в средство защиты, к которому прибегает все сообщество перед лицом бесконечного круговорота насилия и контрнасилия — это означает упустить из виду главную заботу дикарей: чувство мести надо не подавлять, а всячески поощрять. Мечь перестала быть угрозой, жуткой реальностью, предотвратив которую можно с помощью жертвоприношения, способного положить конец насилию, предположительно дающему выход внутренним распрям с помощью обезличивающих методов. Такому представлению о мести следует противопоставить мечь, какой ее считают дикари, у которых она инструмент социализации, ценность столь же бесспорная, как и щедрость. Их основное правило — соблюсти кодекс мести, ответить ударом на удар. У индейцев яномама наблюдали такую сцену: один мальчуган уронил другого по неосторожности, и мать последнего требоваала, чтобы ее отпрыск поколотил неловкого мальчишку. Она еще издали закричала: «Отомсти за себя, да отомсти же!».<sup>2</sup> Не являясь, как у Р. Жирара, явлением, чуждым

<sup>1</sup> Жирар Р. Насилие и священнодействие (*Girard R. La Violence et le sacré. Grasset, 1972*).

<sup>2</sup> Лизо Ж. Огненный круг (*Lizot J. Le Cercle des feux. Ed. du Seuil, 1976. P. 102*).

истории и биоантропологии, насилие с целью мщения представляет собой общественный институт, а вовсе не «апокалиптический» процесс. Мсть — это ограниченное насилие, цель которого — установить в мире равновесие, добиться симметрии между живыми и мертвыми. Следует относиться к примитивным институтам не как к машинам для подавления или отклонения трансисторического насилия, но как к механизмам, способным организовать и нормализовать насилие. В таких обстоятельствах жертвоприношение является демонстрацией кодекса мести в действии, а не тем, что препятствует его осуществлению. Жертвоприношение, по существу, это осуществление принципа мести, требование пролить кровь, насилие на службе равновесия, вечной жизни космоса и социума.

Классическая картина мести, какую мы находим, к примеру, у М. Р. Дэви, нам уже непонятна: примитивные группы «не обладают для подавляющей законодательной системой, ни судьями, ни трибуналами для наказания преступников, и все же члены этих сообществ живут обычно в мире и безопасности. Какой же механизм в данном случае выполняет функции, соответствующие таковым в цивилизованном обществе? Ответ на этот вопрос мы находим в практике индивидуальной юридической деятельности или личной мести».<sup>1</sup> Что же, мсть — это условие внутреннего мира, эквивалент справедливости? Концепция весьма спорная, поскольку мсть, превращенная в насилие, оправдывает репрессии, вооружает отдельных индивидов, в то время как институт правосудия имеет своей задачей помешать личной расправе. Мсть — это механизм обобществления путем насилия, в регистре насилия;

<sup>1</sup> Дэви М. Р. Война в примитивном обществе (Davie M. R. La Guerre dans les sociétés primitives. Payot, 1931. P. 188).

никто не вправе оставить безнаказанным преступление или оскорбление, никто не может сохранить за собой монополию на применение физической силы, никто не смеет воспротивиться императиву пролить кровь врага, никто не должен возлагать на другого защиту своей собственной безопасности. Разве это не означает, что примитивная мсть — это деяние, направленное против государства, задача которого — помешать возникновению систем политического доминирования? Превратив мсть в долг, не имеющий срока давности, все люди стали равны перед насилием; никто не может монополизировать применение силы или отказаться от ее использования; никто не вправе рассчитывать на защиту со стороны особой инстанции. Таким образом, не только в результате войны и обусловленной ею центробежной дисперсии примитивному обществу удавалось предотвратить возникновение государственного механизма подавления.<sup>1</sup> В силу кодекса чести и мщения, которые противодействуют желанию человека искать защиты, возможность умереть и право на это не смогли найти выхода.

В то же время, препятствуя становлению независимой личности, его собственный интерес переплетается с кодексом мщения. Здесь налицо приоритет общественного начала; живые обязаны скрепить кровью солидарность с мертвыми, стать единым целым со своим кланом. Кровавая мсть выступает против деления на живых и мертвых, против существования отдельной личности; тем самым она становится орудием солидарности, подобно правилу наследственности. Согласно ей культуре индивида передается меньше природных качеств, чем может обеспечить объединяющая роль общества и преимущество коллектива перед индиви-

<sup>1</sup> Кластр П. Археология насилия (Clastes P. Archéologie de la violence. Libre, 1977. N 1. P. 171).

дом. К тому же дочерям и сестрам запрещено вступать в близкородственные и кровосмесительные браки.

Сравнение можно, пожалуй, продолжить на другом примере, связанном с насилием. Речь идет о церемониях посвящения юношей, вступающих в зрелый возраст, которые сопровождаются невероятными ритуальными мучениями. Причинять страдания, мучить — в обычаях примитивного общества, поскольку, когда идет речь даже о демонстрации собственного тела, надо полностью подчиниться отдельному представителю сообщества, а всем мужчинам, без различия возраста — высшему, не всем известному закону. Ритуальные мучения — это последний способ подчеркнуть, что закон сотворен не людьми, что с ним необходимо примириться, не задумываясь и ничего не меняя, это способ выделить онтологическое превосходство порядка, ниспосланного свыше и поэтому неподвластного людям, не смеющим его изменить. Подвергая посвящаемого мучениям, ставят целью заставить его на собственной шкуре почувствовать неизбежность и немолчаливость социальных законов и вдобавок не позволить развиваться у него своеволию и желанию осуществить радикальные перемены.<sup>1</sup> Первобытная жестокость похожа на месть, это объединяющий ритуал, направленный против самостоятельности индивида, против политического размежевания, против истории: подобно тому, как закон мести требует, чтобы люди рисковали своей жизнью во имя солидарности и чести группы, посвящение требует от людей молча предавать собственное тело на мучения ради трансцендентных законов сообщества.

Совсем как при обряде посвящения практика пыток показывает глубокий смысл примитивной жесто-

<sup>1</sup> Клястр П. Общество против государства (*Clastes P. La Société contre l'Etat*. Ed. du Minuit, 1974. P. 152—160).

кости. Жестокость войны проявлялась не только в налетах и убийствах, но и в захвате пленных, которым не только мужчины, но и дети и женщины причиняли неслыханные страдания, не вызывая при этом ни ужаса, ни возмущения. На подобную жестокость нравов давно обращали внимание, но вслед за Ницше, который усматривал в этом праздник агрессивных чувств, выравнившихся наружу, затем — за Батаем,<sup>1</sup> который видел здесь ненужную трату сил на социальную и политическую логику насилия, под покровом «энергетических» проблем их не могли разглядеть. Жестокость в примитивном обществе не имеет ничего общего с «удовольствием причинять страдания»; ее нельзя сравнивать с тем трепетным чувством, которое испытываешь, нанося кому-то вред: «Причинять страдания приносило непомерное наслаждение, компенсировавшее ущерб и скуку от этого ущерба — все доставляло пострадавшим сторонам дополнительное удовольствие».<sup>2</sup> Независимо от ощущений и эмоций жестокие мучения являются ритуальной практикой, которая требуется законом мести, чтобы уравновесить мир живых и мир мертвых. Жестокость диктуется социальной логикой, а не логикой желания. Сказав об этом, Ницше увидел существо проблемы, возложив причины жестокости на чувство долга, даже если этому понятию придать современный, материалистический смысл на основе экономического взаимобмена.<sup>3</sup> Фактически чудовищность пыток нельзя объяснить ничем, кроме этого своеобразного чувства долга, который связывает живых с мертвыми. Неоплатного долга, во-первых, потому что живые не могут процветать, не признав до-

<sup>1</sup> Батай Жорж (1897—1962) — французский философ и писатель.

<sup>2</sup> Ницше Ф. Генеалогия морали. Вторая диссертация. § 6.

<sup>3</sup> Там же. § 4.



брожелательного к себе или нейтрального отношения со стороны своих мертвецов, которые наделены особым могуществом, представляющим одну из самых больших угроз, и, во-вторых, потому что этот долг касается двух миров, которые всегда находятся под угрозой взаимного отчуждения — мира видимого и невидимого. Однако нужен *избыток*, чтобы восполнить дефицит смерти; избыток скорби, крови или плоти (для пира каннибалов), чтобы исполнить закон мести, то есть для того, чтобы разлад превратить в согласие, чтобы восстановить мир и союз с мертвецами. Примитивная месть и жестокие социальные системы имеют много общего между собой, выступая как средства восстановления неизменного социального порядка.

Следовательно, избыток мучений не чужд логике взаимобмена, во всяком случае того, что происходит в отношениях между живыми и мертвыми. П. Кластр сумел показать, что война отнюдь не была случайной ошибкой во взаимобмене, а первой структурой, главной задачей члена примитивного общества, убедившегося в необходимости взаимобмена и союза;<sup>1</sup> однако, «реабилитировав» политическое значение насилия, нужно постараться не превратить этот обмен в равнодушный инструмент войны, в ее обычный тактический прием. Смещение приоритетов не должно скрывать того факта, что насилие обязано обмену, а обмен — насилию. В примитивном обществе распри и взаимобмен находятся в гармонии, распри неотделимы от споров о наследстве, неизбежно связанных с войной.

Поскольку грубое насилие идет рука об руку с мщением, очевидны связи, которые их соединяют. Подобно тому, как существует обязательство быть щедрым,

раздавать блага, женщин, пищу, так существует и обязательство щедро распорядиться своей жизнью, дарить ее в соответствии с императивом мщения. Все блага нужно вернуть; долг мертвецам — долг кровью должен быть уплачен сполна, как и остальные долги. Симметрия сделал соответствием симметрия мести. Групповая солидарность, которая заметна при круговороте богатств, проявляется аналогичным образом посредством насилия и мщения. Таким образом, насилие не противоречит закону товарообмена; нарушение взаимных условий отражается в рамках взаимобмена между живыми и мертвыми.

Однако если насилие имеет структурное сходство с товарообменом, то последний, со своей стороны, не может быть уподоблен в чистом виде мирному институту. Несомненно, согласно правилу наследственности и долга, «примитивные» люди объединяются в союзы,<sup>1</sup> но это не означает, что взаимобмен не имеет ничего общего с войной. Мосс неоднократно подчеркивал в ставших знаменитыми строках, что насилие — это составная часть процесса взаимобмена, происходящего в продолжение всей этой «войны за право собственности», которую представляет собой потlach.<sup>2</sup> Даже если противопоставление, соперничество не достигают такого масштаба, какой имел в виду Мосс, товарообмен все же «приводит к внезапным ссорам, хотя цель его зачастую состоит в том, чтобы их избежать».<sup>3</sup> Иначе говоря, такой обмен обуславливает неустойчивый, неппрочный мир, который в любую минуту может оказаться нарушенным. Стоит понять, почему взаимоб-

<sup>1</sup> Сален М. Каменный век, век изобилия (*Sahlins M. Age de pierre, âge d'abondance*. Gallimard, 1976. P. 221—236).

<sup>2</sup> Пир у индейцев Северной Америки. — Примеч. пер.

<sup>3</sup> Мосс М. Очерк о дарении (*Mauss M. Essais sur le don / Sociologie et anthropologie*. P. U.F., 1960. P. 173. N 2).

<sup>1</sup> Кластр П. Археология насилия (*Clastres P. Archéologie de la violence*. P. 162—167).

мен с целью установить мирные отношения наталкивается на препятствия. Неужели следует вновь обратиться к гипотезе Леви-Стросса, согласно которой война — это всего лишь случайная неудача, результат неумелого соглашения, или же в любых взаимоотношениях следует усматривать институт, в основе которого лежит насилие? Вторая гипотеза нам кажется верной: осечка происходит лишь для виду, наследственность структурно участвует в логике войны, поскольку союзы создаются на заведомо неустойчивой основе. Правило взаимности, поскольку она выступает символически, ради престижа, как борьба, а не как способ обогащения, срабатывает всегда на грани конфликта и столкновения: при экономических и брачных обменах, какие играют решающую роль при возникновении союзов у яномов, «партнеры постоянно находятся на грани разрыва, но именно эта рискованная игра, это ощущение взаимной агрессивности и доставляет им удовольствие». <sup>1</sup> Нужно совсем немного для того, чтобы друзья стали врагами, чтобы мирный союз превратился в военное противоборство; принятие даров может оказаться весьма опасным обычаем: достаточно однажды изменить ему, чтобы это было воспринято как оскорбление, как повод к войне. Будучи структурой, основанной на агрессивности, взаимно-препятствует установлению прочных дружеских отношений, возникновению постоянных связей, которые спаяли бы сообщество с такими-то или такими его соседями, в конечном счете заставив его утратить свою автономию. Если и существует непостоянство в международной жизни дикарей, если союзы у них регулярно возникают и распадаются, то это объясняется не только императивом войны, но в равной мере и тем типом взаимоотношений, которые они под-

<sup>1</sup> Лизо Ж. Цит. пр. С. 239.

держивали в продолжение всего взаимобмена. Связывая группы не по интересам, но согласно какой-то символической логике, взаимность разрушает дружественные союзы с такой же легкостью, с какой создает. Никакое сообщество не застраховано от развязывания военных действий. Не уподобляясь военной тактике, закон действия и противодействия является социальным условием перманентной войны в примитивном обществе.

Косвенно взаимобмен участвует еще и в насилии у примитивных «людей», поскольку он мобилизует их во имя кодекса чести, предписывая быть самоотверженными и щедрыми. Так же как и императив войны, закон действия и противодействия всех уравнивает как для защиты чести, так и для насилия. Война и взаимобмен происходят аналогично; примитивное общество, как отметил П. Кластр, «настроено на войну», даже социальные институты, цель которых — установление мирных отношений, удалось создать лишь с одновременным введением в их структуру элемента воинственности.

Кроме того, в достаточной ли степени выявлены связи между взаимобменом и колдовством? Их взаимосуществование, широко известное в мире дикарей, не является случайностью; фактически это два тесно связанных института. В примитивном обществе разные беды, неудачи людей, как полагают, происходят в результате колдовства, будь то недоброжелательство ближних или чье-то преднамеренное желание причинить кому-то вред. Жалит ли ребенка скорпион, заканчивается ли неудачей охота, выпадает неурожайный год, не заживает рана — все это приписывается чьей-то злой воле. Несомненно, в чародействе следует усматривать одну из форм этой «конкретной науки», которой является примитивная мысль, средство приведения в порядок хаоса вещей и объяснения наибо-

лее точным образом человеческих бед. Однако нельзя совсем не заметить, что такая «философия» вносит элемент вражды и насилия в представления об отношениях между людьми. Чародейство — это руководство войной особыми средствами. Подобно тому, как каждое сообщество имеет своих врагов, так и каждый из его членов имеет личного врага, ответственного за его беды. Всякое несчастье навлекается магическим насилием, губительной войной, поэтому то или иное лицо может быть или другом, или врагом, в соответствии со схемой, похожей на ту, что создана войной или взаимообменом. Согласно закону действия и противодействия, производят обмен подарками, вступают в союзы. Если обмен подарками прекращается, то появляются враги. Прimitивное общество, с одной стороны, препятствует политическому делению, с другой стороны — порождает антагонизм при обострении отношений между людьми. Никакой индифферентности, никаких нейтральных отношений наподобие тех, которые преобладают в индивидуалистическом обществе. С началом войны, взаимообмена, чародейства восприятие мира связывается с конфликтом и насилием.

Помимо этой параллели, чародейство находит во взаимообмене подходящие социальные условия. Согласно правилу дарения, люди вынуждены сосуществовать и определяться относительно друг друга. Люди не могут представить себе, чтобы они жили порознь.<sup>1</sup> Именно эта схема повторяется с точностью до наоборот при чародействе, поскольку все пагубное, что происходит с нашим «Я», непременно связано с другими людьми. В обоих случаях люди не могут существовать независимо; колдовство — это обратная сторона таланта, согласно которому человек существует лишь в

<sup>1</sup> Гоше М., Суэн Ж. Практика человеческого разума (Gauchet M., Swain G. La Pratique de l'esprit humain. Gallimard, 1980. P. 391).

предопределенном контакте с другими людьми. Именно условия обязательного обмена позволяют интерпретировать злополучные события в категориях чародейства: колдовство — это не произвольное развертывание неприрученной мысли, это все еще правило взаимности, холистический примат относительности, который составляет его необходимое социальное обрамление. *Напротив*, не бывает никакого чародейства в обществе, где индивид существует ради самого себя; исчезновение чародейства из нынешней жизни нельзя отделить от нового типа общества, где наш ближний постепенно становится для нас незнакомцем, которому чужда правда, присущая нашему «Я».

### Варварский уклад

С возникновением государства характер войны радикально меняется, потому что из инструмента, обеспечивающего равновесие или социальный консерватизм, каким она была при первобытном строе, война превращается в средство для завоеваний, экспансии или захватов. Причем вопреки кодексу мести, в нарушение преимущественной роли взаимообмена с мертвыми, для войны открывается перспектива превращения в орудие завоевания господства. Поскольку для всего общества долг перед мертвецами является высшей целью, а война ограничена территориальным и священным принципом, то речь идет, именно благодаря применению силы, о том, чтобы все оставалось без изменения, как завещали предки. Но после политического размежевания претензии на власть отодвигаются на второй план, и отношение к мертвым, которое теперь определяется логикой взаимности, становится противоречивым, в то время как государство, в силу своей асимметричности, вводит принцип антиномии с

миром взаимобмена. Государство как таковое могло возникнуть, лишь освободившись от кодекса мести, от долга по отношению к мертвым и отказавшись идентифицировать войну с мщением. Отныне утверждается принцип насилия ради завоеваний; государство присваивает себе право вести войну, захватывать территории и рабов, возводить укрепления, создавать армии, вводить дисциплину и военные порядки. Теперь война ведется не против государства, она становится славной миссией созерена, его специфическим правом. Начинается новая эра культа силы, эра варварства, которая означает становление режима насилия в статических обществах.

Разумеется, первые государства не окончательно освобождаются от принципа исполнения долга. Деспот обязан своим положением и своей легитимностью исключительно поддержке церкви, которую он представляет или воплощает собою, оставаясь ее должником и подчиненным. Государство может органически оставаться таковым лишь по отношению к высшей и божественной власти, а не к душам усопших, что нанесло бы ущерб его выдающемуся положению, принизило бы в глазах общества, над которым оно властвует.

Свободная от кодекса мести, война вступает в период специализации, когда создаются регулярные армии из рекрутов или наемников, а также особые касты профессиональных военных, занятых исключительно добыванием славы, вкладывающих всю душу в завоевательные походы. Соответственно, большинство населения городов и сельские труженики оказываются исключенными из этого клана, лишенными возможности участвовать в войне. Это становится привилегией дворянства, остальные обязаны содержать армию профессионалов. Такого рода массовое разоружение вовсе не означало для мужичья отказ от всяческого насилия или от соблюдения кодекса чести и мести.

С возникновением государства сохраняется режим холистической социализации, при которой, наряду с сохранением военных кланов и непрерывными войнами, утверждается жестокость нравов. В период средневековья соблюдение кодекса чести было причиной частых и жестоких столкновений между отдельными лицами, доходивших до убийств. Причем участвовали в таких стычках не только военные. Даже в монастырях между аббатами были случаи насилия вплоть до кровопролития;<sup>1</sup> убийства среди крепостных крестьян, по-видимому, были обычным делом,<sup>2</sup> да и жители городов, не колеблясь, хватались за нож, чтобы уладить спор.<sup>3</sup> Судебные протоколы раннего средневековья еще свидетельствуют о том, что предметом частых разбирательств были случаи насилия, ссоры, драки с нанесением ран, а то и убийства, которые характеризовали повседневную жизнь горожан.<sup>4</sup> После установления иерархического разделения на сословия — на военных специалистов и производителей товаров — появилось четкое разграничение между понятиями «честь дворянина» и «честь простолюдина», и тот и другой имели собственный кодекс чести, неизменно являвшийся причиной стычек и смертоубийств.

Так же дело обстоит и с кодексом мести. Если война и государство больше не улаживают вопрос долга по отношению к усопшим, то это вовсе не означает, что общество отказалось от практики мести. Разумеется, после того как государство начало укреплять свое влияние, ему пришлось ограничить практику мести со

<sup>1</sup> Блок М. Феодальное общество (*Bloch M. La Société féodale*. Albin Michel. Coll. «Evolution de l'humanité». P. 416).

<sup>2</sup> Там же. С. 568.

<sup>3</sup> Элиас Н. Цивилизация нравов (*Elias N. La Civilisation des mœurs*. Coll. «Pluriel». P. 331—335).

<sup>4</sup> Герemek Б. Бродяги и нищие (*Geremek B. Truands et misérables*. Gallimard. Coll. «Archives», 1980. P. 16—22).

стороны частных лиц, заменив ее принципом общественной справедливости и издав соответствующие законы с целью борьбы с вольным толкованием кодекса мести. Были отменены закон возмездия, право первой ночи, пошлины на сделки. Было заявлено, что месть в принципе чужда государству, во всяком случае в период его расцвета. Вот почему его возникновение совпадает с вводом в действие судебных и исправительных систем, представляющих верховную власть и предназначенных для того, чтобы покончить с внутренними распрями во имя высшего закона. Однако внутрисемейные расправы происходили очень часто: с одной стороны — из-за слабости общественных органов, с другой стороны — по причине легитимности, испокон веку придаваемой кодексу мести в холистическом обществе. В средние века и в особенности в феодальный период *faide*<sup>1</sup> всегда выступает как святой моральный долг для всего общества сверху донизу, как для высших рыцарских родов, так и для простонародья; *faide* объединяет людей в группы по признаку родства. Убийство или оскорбление одного из членов группы наказывается смертью. Бесконечные вендетты, зачастую выраставшие из пустяковых ссор, могли продолжаться десятилетиями, губя людей десятками. Мечь и холистический социальный порядок настолько равнозначны, что уголовные законы зачастую лишь воспроизводят их форму. Таким образом, греческое законодательство или закон Двенадцати Столов в Риме запрещал принцип вендетты и право творить самосуд, однако принятие мер в ответ на убийство возлагалось на наиболее заинтересованное лицо. Тот же самый судебный механизм мы обнаруживаем в некоторых

<sup>1</sup> *Faide* или *faida* — от нем. *Fehde* (месть), что означает «вражда», «междоусобица». По существу, это западно-европейский вариант кровной мести. — *Примеч. пер.*

регионах в XIII веке, где в случае преднамеренного убийства преступника отдавали в руки родственников жертвы по закону возмездия. Таким образом, поскольку общество — независимо от того, существовало или нет в нем государство, функционировало в соответствии с холистическими корнями, предписывая родственную солидарность, мщение оставалось в той или иной мере долгом. Его законность исчезнет лишь с вступлением общества в эпоху индивидуализма вместе с порождением одного — современным государством с узаконенной системой физического принуждения, постоянной и регулярной защитой членов общества.

Кодексы чести и мести продолжали существовать и с возникновением государства, наряду с жестокостью нравов. Разумеется, появление государства с его иерархическими порядками коренным образом изменило отношение к жестокости. Из священного ритуала, каким она была в первобытном обществе, жестокость превратилась в варварство, нарочитую демонстрацию собственной силы, публичное удовольствие: вспомним пристрастие древних римлян к жестоким зрелищам боев между дикими животными и гладиаторами, вспомним воинственную страсть рыцарей, расправы над пленными и ранеными, избивание младенцев, грабежи или калечение побежденных. Чем же объяснить существование в течение тысячелетий — от древности до средних веков — жестоких нравов, которые конечно же сохранились и в наше время, но которые в случае их проявления вызывают всеобщее негодование? Следует непременно отметить полное соответствие между жестокостью нравов и холистическими (тоталитарными) обществами, в то время как жестокость и индивидуализм — понятия несовместимые. Все общества, которые отдают предпочтение организациям тоталитарного толка, в той или иной степени

являются системами, где царит жестокость. Именно преобладающая роль коллектива мешает придать жизни и личным страданиям ту ценность, которую мы в них находим. Варварская жестокость объясняется не отсутствием отрицательного к ней отношения или социального подавления, она является непосредственным следствием возникновения общества, где отдельный его элемент, подчиненный коллективным нормам, не знает, что такое признанная самостоятельность.

Жестокость, тоталитаризм и воинствующие общества идут в одном строю: жестокость, как социально преобладающая категория, возможна лишь там, где на первом месте стоит воинская доблесть, бесспорное право силы и право победителя, презрение к смерти, храбрость и выносливость, отсутствие сострадания к врагу — ценности, имеющие общим бравирование внешними проявлениями своей физической мощи, обесценение как сугубо личного, так и чужого опыта восприятия мира. Жизнь отдельной личности считается малозначущей по сравнению со славой, добытой кровью, социальным престижем, приобретенным за счет атрибутов смерти. Жестокость — это исторический механизм, который нельзя оторвать от ее значения для общества, считающего войну важнейшей деятельностью: варварская жестокость — дочь Полемоса,<sup>1</sup> символ величия сословия воинов-победителей; кровавое орудие, удостоверяющее свой образ, крайнее средство воплощения холистической и военной логики.

Неразрывные узы соединяют войну как высший образец поведения, с традиционной моделью общества. Существовавшие до эпохи индивидуализма могли воспроизводить себя, лишь наделяя войну высшим

<sup>1</sup> Полем (Полемос) — олицетворение войны в древнегреческой мифологии, бог битвы, спутник Арея. — *Примеч. ред.*

статусом. Следует ли доверять современному экономическому чутью: войны империалистические, варварского или феодального периода, даже если и позволяли захватывать богатства, рабов или новые территории, редко предпринимались в исключительно экономических целях. Война и связанные с нею ценности скорее мешали развитию рынка и чисто экономическим отношениям. Обесценивая коммерческую деятельность с целью получения барышей, узаконивая грабеж и захват богатств силой, война препятствовала распространению взаимобмена и созданию самостоятельной экономической сферы. Превращение войны в высшую ценность не мешает торговле, но ограничивает рынок и денежный оборот, делает второстепенным приобретение богатства путем обмена. Наконец, отрицая самостоятельность экономики, война равным образом препятствовала появлению свободного индивида, которые сопутствует созданию независимой экономики. Именно здесь война проявила себя как неотъемлемая часть элемента воспроизводства тоталитарного строя.

### Цивилизационный процесс

Направление исторической эволюции известно: за несколько столетий общества, созданные кровью и руководствующиеся кодексом чести, включая месть и жестокость, мало-помалу уступили место обществам сугубо «полицейского типа», где количество актов насилия по отношению к отдельным личностям не уменьшается, применение силы не встречает одобрения, где жестокость и зверства вызывают возмущение и ужас, где наслаждение и насилие несовместимы. Приблизительно с XVIII века Запад вступил в процесс цивилизации и смягчения нравов, наследни-

ками и продолжателями чего мы являемся. Об этом свидетельствует резкое уменьшение количества кровавых преступлений, убийств, драк, нападений, нанесения ран.<sup>1</sup> Доказательством тому — исчезновение дуэлей и резкое уменьшение числа детоубийств, которые еще в XVIII веке были весьма распространены; на это же указывает, наконец, и отмена на стыке XVIII и XIX веков телесных наказаний, а с начала XIX века — сокращение количества смертных приговоров и казней.

Гипотеза Н. Элиаса относительно гуманизации поведения людей получила широкую известность: от общества с воинственными нравами и насилием над личностью перешли к обществу, где агрессивное поведение не встречает одобрения, поскольку оно несовместимо с «дифференцированием» все более важных социальных функций, с одной стороны, и с монополизацией системы физического принуждения со стороны современного государства — с другой. Когда не существует монополии на ремесло военного и полицейского и когда постоянно не чувствуешь себя в безопасности, то агрессивность становится необходимой. Зато по мере дальнейшего разделения социальных функций и благодаря работе центральных органов, берущих в свои руки систему физического принуждения, возникает разветвленная сеть, обеспечиваю-

<sup>1</sup> Если говорить о преступлениях, совершенных в Париже и его предместьях за период с 1755 по 1785 год и разбивавшихся королевским трибуналом, жестокие насилья превышали 2.4 % всех судебных дел, убийства составляли 3.1 %, в то время как кражи превышали 87 % общего количества преступлений. «Заметная часть преступлений экономического характера ставит Париж периода 1750—1790 гг. в разряд типично преступных метрополий нового времени» (Петрович П. Преступление и преступность во Франции в XVII и XVIII веках (Petrovitch P. Crime et criminalité en France aux XVII et XVIII siècles / A. Colin, 1971. P. 208). О такого рода изменении характера преступности в сторону мошенничества в Нормандии, похоже, свидетельствуют и работы под руководством П. Шоюя).

щая повседневную безопасность, применение насилия отдельными лицами оказывается мерой исключительной, не будучи уже «ни необходимым, ни полезным, ни даже возможным».<sup>1</sup> Чрезмерной импульсивности обществ, предшествовавших абсолютистскому государству, была противопоставлена система регулирования поведения, «самоконтроля» индивида; начался процесс цивилизации, который сопровождался умиротворением жизни на подконтрольной территории.

Несомненно, смягчение нравов неотделимо от процесса государственной централизации; причем существует опасность воспринять ее как непосредственный и механический результат политического умиротворения. Нельзя сказать, что люди «вытесняют» свои агрессивные влечения, исходя из того что гражданский мир обеспечен и система взаимозависимости продолжает расширяться, словно насилие — лишь полезное средство сохранения жизни, бессмысленное средство, словно люди «рационально» откажутся от применения насилия, после того как их безопасность будет обеспечена. Это значит забыть, что испокон веков насилие было императивом, которым прорывалась тоталитарная организация общества, поведением, основанным на кодексе чести и на вызове, а не на целесообразности. До тех пор, пока общие нормы будут иметь преимущество перед желанием отдельных лиц, кодекс чести и мести сохранит свое значение, а развитие полицейского аппарата, совершенствование техники надзора и укрепление судебных органов, при всей их целесообразности, будут оказывать лишь ограниченное влияние на количество преступлений против личности. Подтверждением тому служит вопрос о дуэлях: после королевских эдиктов,

<sup>1</sup> Элиас Н. Динамика Запада (Elias N. La Dynamique de l'Occident. Calmann-Levy, 1975. P. 195).

изданных в самом начале XVII века, дуэлянтство становится преступлением, влекущим за собой лишение всех привилегий и титулов, а также предание виновников позорной смерти. Однако в начале XVIII века, несмотря на скорый и правый суд, по-прежнему затевались дуэли и, похоже, даже чаще, чем век назад.<sup>1</sup> Угрошение репрессивного аппарата государства смогло выполнить свою роль в умиротворении общества лишь в той мере, в какой устанавливались межличностные экономические отношения и возникло новое толкование насилия. Процесс цивилизации нельзя рассматривать ни как подавление людских страстей, ни как их механическое приспособление к условиям гражданского мира: этой объективистской, функциональной и утилитаристской картине следует противопоставить мировоззрение, которое увидело в спаде числа преступлений против личности возникновение новой социальной логики — феномен, еще не известный в истории.

Объяснение такого явления с экономических позиций является также неубедительным, поскольку оно также объективистское и механистическое: сказать, что благодаря обогащению общества с отступлением нищеты и подъемом уровня жизни происходит оздоровление нравов, это значит забыть исторически доказанный факт, что экономическое процветание само по себе никогда не препятствовало насилию. В особенности это касается высших классов, которые вполне могли совмещать любовь к роскоши с приверженностью к войне и жестокости. Мы не намерены отрицать роль политических и экономических факторов, кото-

<sup>1</sup> Биалакуа Ф. Парижский парламент и дуэли в XVII веке // Преступление и преступность во Франции в XVII и XVIII вв. (*Billacois F. Le Parlement de Paris et les duels au XVIIe siècle // Crime et criminalité en France aux XVII et XVIII siècles*).

рые, конечно, же решительным образом способствовали процессу цивилизации. Мы хотим сказать, что их работу невозможно оценить вне зависимости от их исторического и социального значения. Монополизация законного применения силы как таковая или жизненный уровень, определенный количественно, не могут однозначно истолковать такое явление, как смягчение нравов обывателей. При всем при этом именно современное государство и его порождение — рынок — вместе и безраздельно способствовали возникновению новой социальной логики, новому значению межличностных отношений, сделав со временем неизбежным спад количества преступлений против личности, связанных с насилием. Именно совместные усилия современного государства и рынка подвели нас к огромной пропасти, которая отныне навсегда отделила нас от традиционных обществ, и обусловили появление такого вида общества, где индивид считает себя пупом земли и живет лишь для себя самого.

Посредством эффективной и символической централизации, которую оно провело, современное государство, начиная с периода абсолютизма, играло решающую роль в разрыве и обесценении прежних уз личной зависимости и в появлении самостоятельного свободного индивида, нарушившего феодальные связи, соединявшие людей, а затем сбросившего с себя и остальной традиционный груз. Кроме того, расширение рыночной экономики, распространение системы взаимобмена способствовало рождению эгоистичной личности, цель которой — утверждение собственных частных интересов.<sup>1</sup> Покупка и продажа недвижимости, приобретение земельных наделов

<sup>1</sup> Взаимоотношения между государством, рынком и индивидом рассматривают Марсель Гоше и Глэдис Суэйн в кн. «Практика человеческого разума» (*Gauchet M. et Swain G. La Pratique de l'esprit*



становится широко распространенной практикой; по мере развития торгового обмена, повышения заработной платы, дальнейшей индустриализации и миграции населения нарушаются взаимоотношения между индивидом и окружающим его обществом, происходит перемена, которую можно выразить одним словом — индивидуализм. Это явление сопровождается беспрецедентной тягой к деньгам, интимности, благополучию, владению собственностью, безопасности и бесспорно нарушает традиционную организацию общества. При наличии централизованного государства и рынка рождается индивид современного типа, который рассматривает себя как изолированную ячейку, отказывается следовать унаследованным от предков правилам и считает основным законом собственные интересы.

Именно это нарушение отношений между индивидом и обществом, существовавших издавна, будет выступать как идеальный фактор умиротворения. С тех пор, как на смену интересов социума выступили интересы и желания отдельных партий, социальные законы, которые обуславливали групповую солидарность, отдельный индивид перестал считать для себя священной обязанностью соблюдение законов кровной мести, которые веками приковывали человека к его окружению. Покончить с кодексом мщения государству удалось не только с помощью законов и общественного порядка. Столь же радикальную роль сыграл процесс индивидуализации, который мало-помалу подорвал солидарность сторонников вендетты. Если в период с 1875 по 1885 год во Франции проис-

ходило одно убийство на сто тысяч человек, то на Корсике их было в четыре раза больше. Такую же заметную разницу мы обнаруживаем между преступностью в Северной и в Южной Индии, где количество убийств очень высоко: там, где семейные традиции сильны, вопреки мощному репрессивному аппарату государства вендетта продолжает свою страшную жатву.

В силу все того же процесса кодекс чести претерпевает коренные изменения: когда индивид все больше определяется в своем отношении к вещам, когда тяга к деньгам, стремление к благополучной жизни и владению имуществом преобладают над общественным статусом и социальным престижем, то вопросы чести и агрессивность отходят на второй план. Высшей ценностью становится жизнь, императив — не потерять лицо — ослабевает. Более не считается зазорным не отвечать на оскорбление или обиду; мораль чести — причина дуэлей, постоянной и кровавой воинственности сменяется моралью утилитарности, благоразумия, позволяющей людям встречаться друг с другом, по существу, под знаком *равнодушия*. Если же в традиционном обществе человек сталкивается с кем-то и тотчас определяет, кто перед ним — друг или враг, то в современном обществе он обычно бывает представлен незнакомцу, который, может, даже не стоит того, чтобы проявлять в его отношении насилие. «Самообладание, избегайте крайностей, старайтесь не принимать близко к сердцу оскорбления, поскольку они никогда не бывают такими, какими кажутся на первый взгляд», — писал Бенджамин Франклин. Кодекс чести у него уступил кодексу миролюбия «ради приличий». Впервые в истории устанавливаются цивилизованные отношения: предписывается более не обращать внимание на вызов, мнение о ближнем имеет меньшее значение, чем мой сугубо личный интерес, а общест-

humain // Op. cit. P. 387—396) и Гюстава М. Токвиля, Америка и мы (Gauchet M. Tocqueville, l'Amérique et nous // Libre, 1980. N 7. P. 104—106). См. также: Розанваллон П. Утопический капитализм (Rosanvalon P. Le Capitalisme utopique. Ed. du Seuil, 1979. P. 113—124).

венное признание не ассоциируется с силой, кровопролитием и смертью, с насилием и вызовом. Чаще всего процесс индивидуализации направлен к уменьшению трений в межличностных отношениях: логика вызова, неотделимая от примата тоталитаризма, который в течение тысячелетий объединял отдельных лиц и группы в антагонистические лагеря, постепенно сходит на нет, приобретая антисоциальный характер. Провоцировать своего ближнего, насмехаться над ним, символически уничтожать его — такой тип отношений обречен на исчезновение: кодекс чести уступает культу личной заинтересованности и *privacy*.<sup>1</sup> По мере затухания кодекса чести главными идеалами утверждаются жизнь и ее сохранение, в то время как смертельный риск перестает быть ценностью; воевать — уже не славное занятие; индивид, предоставленный самому себе, все реже затевает ссоры, потасовки, кровавые междоусобицы — не потому, что находится под «самоконтролем», не потому, что более дисциплинирован, чем его предки, но потому, что насилие уже не имеет социального значения, не является более способом самоутверждения и признания индивида. Причем все это происходит в такое время, когда священными ценностями становятся долготельство, бережливость, труд, благоразумие, соразмерность. Процесс цивилизации не является механическим следствием действий власти или экономики, он совпадает с появлением ранее неизвестных социальных ценностей, с индивидуалистическим распадом социума, с новым значением межличностных отношений на основе безразличия.

С установлением индивидуалистических порядков кодекс кровной мести утрачивает свое значение, насилие теряет в глазах общества все свое достоинство или

<sup>1</sup> Частная жизнь — *англ.*

законность; люди в массовом порядке отказываются от применения насилия для урегулирования разногласий. Становится понятным подлинный смысл цивилизационного процесса: как уже показал Токвиль, хотя люди прячутся в собственную скорлупу, заботясь лишь о самих себе, они не перестают призывать к государству с требованием уделять более пристальное внимание их безопасности. Таким образом, цивилизационный процесс, по существу, увеличивает привилегии и усиливает влияние государства: создание полицейского государства не только является следствием самостоятельного развития «холодного чудовища», его появления *желают* индивиды, до сих пор жившие в мирной изоляции, хотя то и дело жаловавшиеся на репрессивный характер и эксцессы такого государства. Увеличение количества законов об уголовных наказаниях, рост возможностей и полномочий полиции, систематический надзор за населением — это неизбежные последствия возникновения общества, в котором насилие обесценено, но в то же время усиливается потребность в общественной безопасности. Современное государство создало индивида, изолированного от себе подобных. Однако в силу этой изоляции, утраты им воинственности и боязни насилия создало условия для постоянного укрепления сил правопорядка. Чем свободнее чувствуют себя обыватели, тем громче они требуют надежной защиты со стороны государственных органов. Чем больше они ненавидят жестокость, тем к большему усилению органов безопасности они призывают. Гуманизация нравов отныне может рассматриваться как процесс, направленный на то, чтобы лишить обывателя его принципов, отрицающих гегемонию тоталитарной власти, и поместить общество под опеку государства.

Однако неразрывный с современным индивидуализмом цивилизационный процесс не следует списы-

вать на счет демократической революции, задуманной как распад иерархического мира и приход царства равноправия. Согласно воззрениям Токвиля, именно «равенство условий», как бы уменьшающее различия между людьми и устанавливающее всеобщее антропологическое господство, объясняет смягчение нравов и отказ от насилия в межличностных отношениях. В эпоху неравенства идеи братства не существовало; сострадание, внимание к людям, которые были достоинством определенной касты, имели мало шансов развиваться; зато эгалитарная динамика, внедряя мысль о равенстве между людьми, равноправными членами одной и той же семьи, представляющей собой одно целое, выступала за сочувствие к бедам и скорбяя своего ближнего и при этом препятствовала распространению насилия и жестокости.<sup>1</sup> Против такого истолкования, ценность которого в том, что насилие анализируется с точки зрения логики и истории, следует возразить, что жертвами жестокости и насилия в иерархические времена становились не только представители разных сословий: «равноправные» оказывались ими ничуть не реже, сама оставаясь не менее жестокими. Разве наиболее кровавые преступления не совершались наиболее близкими по происхождению людьми? Обвинения в колдовстве в XVI и XVII веках выдвигались почти исключительно против лиц, которых обвинители хорошо знали — против соседей и людей своего круга; в дуэлях и вендеттах были замешаны преимущественно близкие друг другу индивиды. Если насилие и жестокость не были чужды лицам одинакового звания, то это означает, что такого рода преступление — следствие равноправия, воспринявшегося, как современная структура отношения к

<sup>1</sup> Токвиль А. Демократия в Америке // Пер. с франц. М.: Прогресс, 1994. См. также комментарий М. Гоше в цит. ст. С. 96—96.

ближнему как к «самому себе», от которой следует отмежеваться, чтобы сделать понятным процесс умиротворения индивидов. Цивилизованные отношения устанавливаются не вместе с равенством, а вместе с социальной раздробленностью, с появлением новых ценностей, выдвиганием на первый план отношения к вещам и сопутствующим ему разочарованием в кодексе чести и мщения. Не признание схожести между людьми объясняет спад количества преступлений против личности; жестокость начинает приводить нас в ужас, ссоры становятся признаком одичания, когда культ частной жизни заменяет тоталитаристские предначертания, когда индивид себе на уме и становится все более равнодушным к мнению других людей. Можно утверждать, что гуманизация общества представляет собой лишь один из аспектов процесса десоциализации, характерного для нового времени.

Тем не менее, увязав либеральность отношений в современном обществе с демократическим процессом утверждения равенства людей, Токвиль сумел добраться до сути проблемы. Когда мы имеем дело с демократическим населением, то каждый его представитель спонтанно чувствует страдание другого: «Напрасно мы будем говорить о чужаках или врагах; воображение тотчас все ставит на свое место. Оно применяет нечто личное к жалости и заставляет человека страдать, когда терзают ему подобного».<sup>1</sup> Вопреки мнению Руссо, «жалость» находится не позади, а впереди нас, она является результатом того, что ее отрицает, а именно индивидуалистической раздробленности. Уход внутрь самого себя, приватизация жизни, отнюдь не отрицая сопричастность чужим бедам, стимулирует ее (жалость). Современного индивида следует воспринимать в рамках процесса идентификации,

<sup>1</sup> Токвиль А. Там же. С. 174.

истинный смысл которой в том, что десоциализация освободила индивида от его коллективных и ритуальных привязанностей, в том, что его собственное «Я» и чужое «Я» могут встретиться как самостоятельные личности, столкнуться между собой независимо от заранее заданных социальных моделей. Наоборот, благодаря преимуществу, которое оказывается всякому социуму, тоталитарная организация препятствует идентификации субъектов. Поскольку межличностным отношениям не удается освободиться от коллективных представлений, идентификация происходит не между мной и чужим «Я», а между мной и традиционным образом группы или модели. Ничего подобного не происходит в индивидуалистическом обществе, где, как следствие, становится возможной сугубо психологическая идентификация, то есть подразумеваются частные личности или образы вследствие того, что больше никто не может однозначно приказывать, что делать, что говорить, во что верить. Как ни парадоксально, но именно благодаря тому, что индивид относится к себе как к постороннему, живет для самого себя, он близко воспринимает чужие беды. Чем больше живешь как частное лицо, тем острее чувствуешь чужие несчастья и скорби; зрелище крови, увечий становится невыносимым. Страдание представляется нам отклонением от нормы, вносящим хаос и скандальным, *чувствительность* стала неизменной характеристикой *homo clausus*. Индивидуализм обуславливает два противоположных и все же взаимно дополняющих друг друга явления — равнодушные к своему ближнему и чувствительность к его страданиям: «В демократические века люди редко заботятся друг о друге, но они проявляют сострадание ко всем представителям человеческого рода вообще».<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Токвиль А. Там же. С. 174.

Можно ли строить экономику, основываясь на такой новой социальной логике, и понять процесс смягчения наказаний, начавшийся на стыке XVIII и XIX веков? Несомненно, такие изменения в карательной системе следует приписать появлению новых рычагов власти, задача которой состоит уже не в том, как это было при возникновении государства, чтобы путем принятия жестких мер утвердить свое превосходство, свое безмерное могущество, а в том, чтобы, напротив, управлять обществом со всей возможной мягкостью, вникая в его жизнь и раскладывая ее по одинаковым полочкам вплоть до мельчайших подробностей.<sup>1</sup> Однако уголовная реформа была бы невозможна без коренных изменений в отношении людей, вызванных индивидуалистической революцией, порождением современного государства. Во второй половине XVIII века почти везде звучали голоса протеста против жестоких телесных наказаний, которые становились неприемлемыми для общества и уподоблялись варварству. Все, что ранее считалось само собой разумеющимся, стало шокировать; индивидуалистический мир и пристальное внимание к своему ближнему, которое он порождает, создали социальные рамки, приспособленные для запрета узаконенной практики жестокости. Следовало избегать проведения бесхребетной политики, даже расчлененной на короткие стратегические отрезки: гуманизация пенитенциарной системы не смогла бы получить такой законодательной поддержки, не могла бы развиваться с такой логикой в течение столь длительного времени, если бы она не совпадала точь-в-точь с новыми отношениями между людьми, обусловленными про-

<sup>1</sup> Фуко М. Наблюдать и наказывать (Foucault M. Surveiller et punir. Gallimard, 1975).

цессом индивидуализации. Вопросы о приоритетах не стоят, поскольку государство и общество одновременно разрабатывали принцип смягчения наказаний.

### Эскалация умиротворения

Как же обстояло дело с цивилизационным процессом в тот момент, когда западное общество оказалось управляемым главным образом персонализацией? Несмотря на постоянные жалобы по поводу роста преступности, ясно, что эпоха потребления и систем связи продолжает, хотя и иными средствами, работу, начатую элитистско-индивидуалистической логикой предыдущей эпохи. Статистика преступности, при все ее неточности, указывает на это; как в продолжительный, так и в усредненный период времени количество убийств остается приблизительно на одном и том же уровне: даже в США, где уровень преступности исключительно высок — хотя он значительно ниже, чем в таких странах, как Колумбия или Таиланд, — в 1930 году количество жертв составляло 9 человек на 100 000 населения и почти не увеличилось в 1974 году, составив 9,3 человека. Во Франции, согласно официальной статистике (не учитывая «черные», неофициальные цифры), количество убийств составляло 0,7 человек в 1876—1880 годах, в 1972 году оно было 0,8. В 1900—1910 годах жертвами убийц в Париже были 3,4 человека против 1,1 в 1963—1966 гг. Для эпохи потребления характерно умиротворение нравов; в особенности, уменьшилось количество потасовок и случаев нанесения побоев: в департаментах Сены и Северном количество осужденных за нанесение побоев и увечий в 1875—1885 гг. увеличилось соответственно до 63 и 100 на 100 000 населения; в 1975 году эти цифры составили 38 и 56. С начала века

индустриализации до недавних дней в Париже, как и в провинции, драки происходили из-за денег в рабочей среде, плохо знакомой с кодексом чести, зато уважающей силу. Даже женщины, если верить Л. Шевалье,<sup>1</sup> а также судя по рассказам Жюль Валлеса и Эмиля Золя, не колеблясь, давали при ссорах волю кулакам. Сегодня насилие становится чуждым явлением для горожан; так же как и смерть, и даже в большей степени оно теперь — запретное слово в нашей среде. Да и низшие классы отказались от традиционной героизации насилия и освоили мирный стиль поведения. Таково подлинное значение «обуржуазивания» общества. Того, чего по-настоящему не удалось сделать ни дисциплинарному воспитанию, ни личной независимости, добилась логика персонализации, поощряя информацию и потребление, сделав священным человеческое тело, равновесие духа и здоровье, разрушив культ героя, сняв налет осуждения с чувства страха, короче говоря, утвердив новый образ жизни, новые ценности, кульминационной точкой которых является индивидуализация личности, отход от общественной жизни, отсутствие интереса к чужому «Я».

Все больше погруженные в собственные дела, люди становятся более мирными — не по этическим причинам, а в силу их чрезвычайной занятости самими собой: в обществе, озабоченном собственным благополучием и собственными достижениями, индивиды, судя по всему, больше хотят оказаться наедине с собой, прислушиваться к себе, «размяться» с помощью путешествий, музыки, спорта, театра, а не затевать драки. Искреннее, всеобщее отвращение обывателей к агрессивному поведению является результатом гедонисти-

<sup>1</sup> Шевалье Л. Монмартр наслаждений и преступлений (*Chevalier L. Monmartre du plaisir et du crime*. Laffont, 1980).

ческой агитации в царстве автомобилей, СМИ, развлечения. Эпоха потребления и коммуникаций обусловила отрицательное отношение к пьянству, ритуальному посещению кафе, этого места общения мужчин с XIX и до середины XX века, как об этом свидетельствует Ариес. Однако такие заведения вполне подходили и для того, чтобы устраивать в них дебоши. В начале XX века каждое второе правонарушение, сопровождавшееся драками и поножовщиной, совершалось в состоянии алкогольного опьянения. Рассеяв индивидов с помощью вещей и СМИ, заставив их покинуть кафе (очевидно, речь идет о французских питейных заведениях) ради жизни потребителя, процесс персонализации мало-помалу отучил мужчин от таких норм общения, которые способствовали росту преступности.

В то же время обществу потребления удалось нейтрализовать межличностные отношения; равнодушие к судьбе и мнению чужих людей становится особенно заметным. Индивид отказывается от применения насилия не только потому, что появились новые блага и личные цели, но и потому, что его ближний оказывается лишенным субстанции, «фигурантом», не представляющим для него никакого интереса.<sup>1</sup> Кровавые преступления являются побочным явлением нарциссизма из-за расширения сферы личных отношений. Жертва-

<sup>1</sup> Именно здесь, где отношения между людьми не возникают на основе равнодушия, то есть, в семейной среде или среди близких людей, наиболее часты случаи насилия. В США в 1970 г. каждое четвертое убийство происходило в семье; в Англии в конце 1960-х годов свыше 46 % убийств были совершены членами семьи или касались их родственников; в Соединенных Штатах общее количество жертв семейных расправ (убийства, побои, ранения) в 1975 г. составило около 8 миллионов (приблизительно 4 % населения). См.: Шеснэ Ж.-Ш. История насилия (*Chesnaïs J.-C. Histoire de la violence*. Laffont. Coll. «Pluriel», 1981. P. 100—107).

ми насилия оказываются в первую очередь те, кто нас бросает или обманывает, те, кто живет в непосредственной близости с нами, о ком мы ежедневно беспокоимся (допустим, это кто-то из знакомых или из ограниченного числа родственников, сосед по лестничной площадке или коллега по работе). Именно это ослабление межличностных отношений наряду с излишним индивидуализмом или нарциссизмом лежит в основе спада уровня насилий. К этому нужно прибавить безразличие к другим людям — явление нового типа, поскольку отношения между индивидами не перестают видоизменяться, приобретают новые цели благодаря психологическим и информационным ценностям. Таков парадокс межличностных отношений в обществе нарциссов: все меньше интереса и внимания уделяется друг другу, но в то же время все больше усиливается желание общаться, не быть агрессивным, понимать своего ближнего. Дружественные отношения с близкими и равнодушие по отношению к посторонним идут нынче бок о бок, так разве может не отступить насилие в такой обстановке?

Если физическое насилие в отношениях между индивидами отходит на задний план, то усиливаются оскорбления словом, что шокирует нарцисса. Оскорбления, носившие социальный характер, столь распространенные в XVIII веке (оборванец, вшивота, доходядя, грязнуля), сменились оскорблениями более «личностного» характера, чаще всего с сексуальной окраской. Исчезли «из моды» и такие оскорбления, как плевков в лицо или вслед, поскольку они стали неуместны в нашем гигиеническом, равнодушном обществе. Оскорбления, как правило, стали пошлыми, утратили элемент вызова, они лишены намерения унижить человека, потеряли агрессивность и редко сопровождаются физическим действием: так, водитель, сдвигая за рулем автомобиля, неодобрительно отзывается о каком-

нибудь лихаче. Тот же, к кому относится это замечание, даже не обращает на него внимания. В эпоху нарциссизма словесные оскорбления теряют свой смысл и даже агрессивность, это просто импульсивная, «от нервов», брань, не имеющая социальной направленности.

Процесс персонализации способствует всеобщему умиротворению; дети, женщины, животные больше не являются объектами насилия, как это было еще в XIX и даже в первой половине XX века. Благодаря неизменно положительному отношению к диалогу, благодаря участливому отношению к просьбам принимается за дело обольщение постмодернистского периода; из воспитательного процесса выпадает физическое воздействие, к которому прибегали в дисциплинарную эпоху. Отказ от телесных наказаний обусловлен распространением методов воспитания на основе взаимных контактов, психологизации отношений в тот самый период, когда родители перестают считать себя образцами поведения, которыми должны руководствоваться их дети. Процесс персонализации сводит на нет все более высокие авторитеты, подрывает принцип *примера*, характерный для отошедшей в прошлое авторитарной эпохи, когда душилась всякая непосредственность и оригинальность. Процесс этот дискредитирует также устоявшиеся методы воспитания: десублимация, характерная для нарциссизма, проявляется в недрах самой семьи в виде неспособности участвовать в воспитательном процессе и отходе от него. Физическое наказание, которое еще вчера выполняло положительную роль в исправлении детей и внедрении норм поведения, успело превратиться в постыдное признание своего бессилия, приводящее к утрате контактов между родителями и детьми, неконтролируемую попытку сохранить свой авторитет.

Развивается и находит отклик в обществе движение женщин, избиваемых мужьями, что ведет к спаду муж-

ского насилия, который наблюдается в наше «транс-сексуальное» время, тем более что мужественность уже не ассоциируется с силой, а женственность — с пассивностью. Насилие со стороны мужчин являлось как бы утверждением кодекса мужского поведения, основанного на разделении полов. Кодекс этот дал трещину, когда вследствие процесса персонализации мужское и женское начала не имеют больше ни четкого обозначения, ни закрепленного места, когда схема мужского превосходства отвергается со всех сторон, когда принцип авторитета мускулов уступает воображаемому авторитету свободного распоряжения самим собой, диалогу «пси», жизни без пут и определенных обязательств. Остается еще вопрос об изнасилованиях. Во Франции в 1978 г. отмечено 1600 случаев изнасилования (3 случая на 100 000 населения), но число их, вероятнее всего, составляет около 8000 (верхняя цифра). В США, где произошло около 8000 изнасилований, «показатели» гораздо выше (29 случаев на 100 000). В большинстве развитых стран наблюдается рост числа изнасилований. Правда, невозможно установить, обусловлено ли это возросшей сексуальной агрессивностью или же более снисходительным отношением к изнасилованным женщинам, позволяющим им более свободно заявлять о том, что они стали жертвами насильников: в Швеции за четверть века количество изнасилований более чем удвоилось; в США оно увеличилось в 4 раза в период с 1957 по 1978 год. Зато вот уже в течение века все указывает на весьма ошутимое снижение сексуального насилия: количество изнасилований уменьшилось во Франции в 5 раз по сравнению с 1870 годом.<sup>1</sup> Несмотря на некоторый рост числа преступлений на сексуальной почве, мирный процесс персонализации продолжает смягчать поведе-

<sup>1</sup> Шесне Ж.-Ш. Там же. С. 181—188.

ние мужчин; увеличение количества изнасилований сопровождается отправкой в ссылку очень ограниченного круга лиц: с одной стороны, осужденные большей частью рекрутируются из групп, принадлежащих к расовым и культурным меньшинствам (в США почти половину арестованных составляют негры); с другой стороны, нельзя игнорировать тот факт, что треть насильников, по крайней мере во Франции, являются рецидивистами.

Наконец, цивилизационный процесс коснулся и отношения к животным. Хотя законы с 1850 по 1898 годы позволяли преследовать за жестокое обращение с животными, известно, что они существовали только на бумаге, а в действительности такой вид насилия отнюдь не был единодушно осуждаем. В XIX веке жестокость по отношению к животным на бойнях была повсеместным явлением. Излюбленными развлечениями рабочих были бои животных, «они заставляли индюков танцевать на раскаленных добела металлических листах; засунув голубей в ящики таким образом, чтобы из них торчали головы, в них, как в мишени, бросали камни».<sup>1</sup> Целая эпоха отделяет нас от такого варварства; в наши дни жестокое обращение с животными всеми осуждается; отовсюду звучат голоса протеста против охоты и боя быков, против условий содержания скота, против отдельных научных экспериментов. Но нигде гуманизация так не заметна, как среди детей, которые (уникальный факт в истории) больше не получают удовольствия от некогда распространенных забав, заключавшихся в том, чтобы мучить животных. Если модернистский индивидуализм сопровождался ростом сочувствия к своему ближнему, то характер-

<sup>1</sup> Зельген Т. История французских страстей (*Zeldin T. Histoire des passions françaises* / Ed. Recherches, 1979. Т. V. P. 180).

ной особенностью постмодернистского индивидуализма является сочувствие не только к представителям рода человеческого. Это сложное чувство следует приписать психологизации индивида: по мере того, как он «персонализируется», границы, отделяющие человека от животного, стираются; всякое страдание, даже если его испытывает животное, становится невыносимым для человека, наделенного чуткой душой, который приходит в ужас при одной мысли о чем-то страдающем. Способствуя дальнейшему смягчению природы индивида, нарциссизм усиливает его восприимчивость ко всему, что происходит вне его; гуманизация нравов, которая продолжается, уживается с безразличием столь же систематическим. Свидетельством тому множество животных, брошенных хозяевами во время летних переездов.

Доказательством беспрецедентного оздоровления общества является тот факт, что в 1976 г. 96 % французов утверждали, что в течение месяца они ни разу не сталкивались ни с какими фактами насилия; больше того, опрошенные заявляли, что в минувшем месяце ни один из членов их семьи (87 %), ни один из их знакомых (86 %) не подвергался никакому нападению. Выходит, ни новая волна преступности, ни стычки на стадионах или на субботних танцевальных вечерах не должны затмевать фон, на котором они появляются: физическое насилие в отношениях между индивидами наблюдается все реже, превращаясь в столкновения, сопровождаемые травмами разного рода. Это, однако, не мешает фон индивидам из трех полагать, что агрессивность в настоящий момент превышает тот уровень, который существовал в недавнем прошлом или в начале века. Известно, что во всех развивающихся странах чувство неуверенности в своей безопасности усиливается: во Франции 80 % населения остро чувствуют рост преступности; 73 %



признаются, что бояться идти домой пешком ночью; каждый второй опасается совершать ночью даже кратковременную поездку на автомобиле. В Европе, как и в США, борьба с преступностью стоит на первом месте во всяких рейтингах и опросах общественного мнения. Нужно ли, учитывая это расхождение между фактами и отношением к ним, считать фактическую небезопасность иллюзией, результатом манипулирования системой информации, к которой прибегают власти для нагнетания истерии с целью контроля над обществом в период идеологического кризиса и духовного вырождения? Но как и почему может эта «идеология» воздействовать на общество? Не обращать особого внимания на глубокие преобразования в гражданском обществе, на его отношение к насилиям, которые в результате происходят. Ведь в действительности неуверенность людей в их безопасности усиливается при любом тревожном факте, помимо всякого воздействия со стороны СМИ. Чувство тревоги за собственную безопасность — это не результат чьей-то политики, это неизбежное следствие неуверенности, незащищенности обывателя, про которого говорят: «у страха глаза велики», который занят лишь своими проблемами, который возмущен репрессивной системой, по его мнению, пассивной и «чересчур» милосердной. Обыватель привык находиться под постоянной защитой, его пугает насилие, о котором он прежде и слыхом не слыхивал: чувство незащищенности всякий день и болезненно вызывает в нем свойственная постмодернизму десубстанциализация. Нарциссизм, неотъемлемый от эндемического страха, создает собственный образ, напуская на себя грозный вид, что лишь умножает спектр индивидуалистических рефлексов: это акты самозащиты, равнодушие к ближним, собственная замкнутость. А довольно значительная часть жителей крупных городов уже пря-

чутся за бронированными дверьми и отказываются выходить вечером из дома; лишь 6 % парижан откликнутся ночью на призыв о помощи.

Любопытно отметить следующий факт. Мнение об уровне преступности усиливается, хотя в гражданском обществе уровень преступности падает. Между тем в кино, в театре, в литературе мы наблюдаем преувеличенный интерес к сценам насилия, разгулу террора и зверств; никогда еще «искусство» не старалось воспроизводить со всей реальностью жестокость — жестокость hi-fi: перешитые кости, реки крови, крики, обезглавливания, отрубленные конечности, акты оскпления. Таким образом, равнодушное общество уживается с «крутым» стилем, с представлением, которое пугает нас своей деланной свирепостью. Невозможно понять эту порнографию свирепости и садистской потребности в ней со стороны нашего утонченного общества; лучше отметим радикализм и самостоятельность взглядов с максималистской точки зрения. Жесткая форма не выражает импульсивности и не компенсирует ее недостатка; тем более не описывает сущность насилия постмодернистского периода, когда ей не противостоит никакой моральный закон, который следовало бы преступить. Остается бежать вперед, по спирали максимализма, оттачивая детали ради деталей, остается сверхреализм насилия, с единственной целью — ошеломить, произвести фурор и сенсацию.

Вот по чему можно судить об ухудшении положения во всех сферах: в сексе (порнография, детская проституция, становящаяся все моложе: в Нью-Йорке насчитывается почти двенадцать тысяч подростков и детей до 16 лет, которые находятся в руках сутенеров), в области информации (нейстремимая страсть к «прямым» репортажам), в наркомании (рост потребностей и увеличение доз «наркоты»), в увлечении звуком (по-

гоня за децибелами), в моде (панки, skinheads,<sup>1</sup> кожаны), в ритмике (рок), в спорте (допинг и чересчур интенсивная тренировка спортсменов; крайняя популярность карате, женский *бодибилдинг* с его страстью к накачиванию мускулов). Отнюдь не являясь модой, зависящей от случая, эффект «крутизны» — следствие либеральных порядков, дестабилизации и распада личности, свойственного нарциссам, а также воздействия юмора, который отображает его обратную, но, по существу, похожую сторону. На постепенное размыwanie моральных устоев, на бездушные сверхиндивидуализма следует ответная реакция в виде бессодержательного и безликого радикализма, повседневных проявлений экстремизма. Экстремизм виден на каждом шагу, наступила пора знаменит, зловещий смысл которых от нас ускользает; мы видим лишь *спецэффекты*, «спектакль» в его чистом виде, его преувеличенную пустоту.

### Преступления и суициды: «крутое» насилие

С возникновением общества, главную роль в котором играет процесс персонализации, картина преступности не осталась неизменной. Если на протяжении XVIII и XIX веков имущественные преступления (ограбление квартир, кражи) и мошенничество (аферы и др.) во всех западных странах превышали количество преступлений против личности, то рост особо опасных преступлений намного их опередил. Налицо невиданное ранее явление: с 1963 по 1976 г. во Франции количество hold-up<sup>2</sup> увеличилось в 65 раз, с 1967 по 1976 г.

<sup>1</sup> Бритоголовые — англ.

<sup>2</sup> Вооруженное ограбление — англ.

количество краж с применением оружия выросло в 5 раз, а количество вооруженных ограблений — в 20. Правда, начиная с 1975 года этот вид преступлений, похоже, застрял на одном уровне, и что касается абсолютных цифр, то они не слишком впечатляют. Тем не менее, вооруженные нападения составляют сегодня самую значительную категорию городских преступлений.

Если процесс персонализации смягчает нравы большинства населения, то он ужесточает преступное поведение деклассированных элементов, поощряет действия громил, стимулирует крайние виды насилия. В результате изолированности индивида и дестабилизации его положения, вызванного в особенности необходимостью удовлетворять свои потребности, чего он, как правило, лишен, происходит эскалация насилия, связанного с добыванием денег, причем это явление ограничено определенным кругом индивидов, у которых особенно выражена склонность к агрессии. В столице Соединенных Штатов 7 % преступников, задержанных за четыре с половиной года, арестовывались в четвертый раз; причем эти 7 % предположительно ответственны за 24 % всех тяжких преступлений, совершенных за этот период.

В прежние времена особо опасные преступники были связаны с определенной прослойкой населения, занимавшейся сводничеством, рэкетом, контрабандой оружия и наркотиков; теперь мы являемся свидетелями профанации или «депрофессионализации» преступности, то есть появления новых видов насилия, и правонарушители, зачастую неизвестные полицейским службам, не имеют никакого отношения к «среде». Преступность, словно подхваченная круговоротом, рассеивается, утрачивает свои четкие очертания, границы классов и возрастов: в 1975 г. во Франции из 100 человек, арестованных за опасные преступления,

18 человек оказались шахтерами; 24 % участников вооруженных ограблений и краж с применением оружия были мужчинами до 20 лет; в США 57 % лиц, совершавших тяжкие преступления, в 1979 году были моложе 25 лет; одному из пяти не исполнилось и восемнадцати. Молодежная преступность не слишком увеличилась количественно, но стала более жестокой. Процесс персонализации, который способствует культуре молодости, умиротворяет взрослых, но ожесточает наиболее молодых, которые, в соответствии с гипериндивидуалистической логикой, склонны все раньше и все быстрее утверждать свою самостоятельность, будь то материальную или психологическую, порой и посредством насилия.

Преступный мир молод и в первую очередь включает в свою орбиту культурных маргиналов, расовые меньшинства, иммигрантов и молодежь из семей иммигрантов. Система потребления гораздо радикальнее разрушает традиционные структуры и личности, чего не могла сделать расистская колониальная система: отныне не столько унижение характеризует портрет «колониализованного», сколько систематическая дезорганизация его самобытности, жестокая дезориентация его «Я», порожденная поощрением потребностей такого индивида, стремящегося к интенсивной жизни. Повсюду процесс персонализации разрушает личность; если посмотреть на нее с лицевой стороны, то она растрескивается по линиям нарциссизма и умиротворения; если же взглянуть с тыла, то в ней проглядывают черты громилы и насильника. Гедонистическое общество безотчетно создает взрывчатую смесь, успев окунуться в водоворот чести и насилия. Жестокость молодежи, лишенной красок жизни или культуры, объясняется сумятицей, царящей в их головах; она является следствием конфликта между персонализированной изоляцией от среды и традиционными рамка-

ми, внутри которых она находится; между системой, основанной на личных желаниях, изобилии, терпимости, и повседневной реальностью гетто, безработицы, праздности, враждебного или расистского равнодушия. Логика безразличия осуществляет другими средствами многовековую работу исключения и изоляции, но уже не посредством эксплуатации или отчуждения с помощью авторитарного наложения западных норм, а с помощью криминализации общества.

Хотя в 1975 г. иностранцы составили лишь 8 % населения Франции, они были ответственны за 26 % краж с применением насилия, 23 % случаев нанесения побоев и ран, 20 % изнасилований, 26 % всех осужденных за хранение оружия. В 1980 г. в Марселе 32 % случаев нанесения тяжких побоев и ран и 50 % всех краж с применением насилия пришлось на долю молодых иностранцев, главным образом выходцев из стран Магриба.<sup>1</sup> Если отметить, что молодые люди, родившиеся в семьях иммигрантов, но считающиеся французами, в этих сводках не фигурируют, будучи, очевидно, включенными во французскую криминальную статистику, можно себе представить, сколь велика доля участия иммигрантов и их детей в актах насилия. Такая тенденция необъяснима ни для полиции, ни для органов правосудия, подозревающих, арестовывающих и осуждающих «иностранцев» чаще всего как автохтонов.<sup>2</sup> В Соединенных Штатах, где общий уровень преступности высок (каждые 27 секунд имеет место акт насилия), негры также составляют большую долю участников тяжких преступлений, являясь как их виновниками, так и жертвами. По большей части в акты насилия вовлечены индивиды одного цвета кожи: жертвами нападений негров чаще становятся негры, чем белые, и

<sup>1</sup> Северо-Западной Африки.

<sup>2</sup> Коренных французов. — *Примеч. пер.*

наоборот. В настоящее время среди черного населения убийства являются главной причиной смертности как у мужчин, так и у женщин от 24 до 34 лет, в то время как среди белого населения этого возраста основной причиной смертности являются дорожные происшествия. Риск оказаться жертвой убийцы у негров в шесть раз больше, чем у белых: если учитывать одних лишь мужчин, то в 1978 г. количество насильственных смертей на 100 000 населения достигло 78.1 у негров и 12.2 — у белых. Почти половина задержанных убийц были неграми. Вот доказательство а *contagio*<sup>1</sup> процесса цивилизации: насилие все в большей степени является уделом маргинальных групп, *меньшинств*. При этом не следует усматривать в этой «цветной» преступности ни искони присущего им образа жизни, ни формы протеста; это точка кульминации постмодернистской дестабилизации и дезинтеграции, восхождение к вершинам экстремизма и цинизма, которые обусловлены размыванием принципов, ограничений и самоконтроля; это жесткая демонстрация слабого порядка.

Выврождение бандитизма — вот что мы наблюдаем в самом «качестве» преступления. В отличие от профессиональных преступников, которые тщательно подготавливают свою операцию, оценивая возможные выгоды и риск, обеспечивая себе алиби, уголовники новой волны идут на «дело» зачастую экспромтом, не зная ни места, ни какова наличность, ни системы сигнализации, затеявая чрезвычайно опасное предприятие ради ничтожной добычи. В течение одного дня они совершают 5—6 вооруженных ограблений, всякий раз довольствуясь смехотворными суммами; именно это несоответствие между риском и барышом, между незначительным результатом и крайностью средств характеризует эту «крутую» преступность, лишенную

планов, честолюбивых помыслов и воображения. Процесс персонализации, который усиливает ответственность индивидов, по существу, способствует ненормальному, неустойчивому, равнодушному отношению к принципу реальности,<sup>1</sup> как бы в соответствии с преобладающим нарциссизмом и его следствием, реальностью, преобразованной в нереальный спектакль, в витрину, за которой нет ничего, посредством логики потребности. Будучи следствием разочарования в великих социальных целях и смысле настоящего, неонарциссизм характеризует шаткую личность — без устоев, без воли, хрупкость и возбудимость которой являются ее главными характеристиками. На этом основании «крутая» преступность людей отчаявшихся, не имеющих ни планов, ни внутреннего содержания, присуща эпохе без будущего, где ценится принцип: «все и сию же минуту», что противоречит равнодушной системе нарциссов; она является ее же ожесточенным отражением: то же безразличие, так же десубстанциализация, та же дестабилизация; то, что вытравляется за счет индивидуализма, теряется за счет «ремесла», честолюбия, но также хладнокровия и самоконтроля. В то время как молодые американские мафиози ломаются и без большого сопротивления нарушают «закон молчания», мы видим появление под воздействием транквилизаторов смеси, состоящей из

<sup>1</sup> Безразличие это проявляется также в *вандализме*, этом выходе свирепости и ярости, который ошибочно рассматривается как свойственный деклассированным элементам вид символического протеста. Вандализм свидетельствует об этом новом недовольстве, затрагивающем как социальные ценности и институты, так и вещи. Подобно тому, как идеалы деградируют и утрачивают прежнее величие, утрачивают всю свою «сакральность» и предметы в ускоренных системах потребления: усвоением деградации вандалов является неуважение к предметам, равнодушие к действительности, отныне утратившей смысл. Здесь снова жестокое насилие воспроизводит слабый порядок, который делает его возможным.

<sup>1</sup> От противного — *лат.*

молодых бездельников. Здесь, как и в остальных местах, десубстанциализация сопровождается хандрой и нестабильностью. Современное насилие не имеет никакого отношения к миру жестокости, его отличительной чертой является скорее нервность, причем не только у шпаны, но и у преступников из числа обитателей дешевых муниципальных квартир, которых приводят в бешенство виновники шумных скандалов, а также из числа представителей самой полиции, судя по многочисленным, вызывающим тревогу общественности делам, имевшим место в последнее время.

Преступления совершаются из-за сущих пустяков. Конечно же, и в давние времена случались гнусные преступления ради грошовой добычи. Еще в конце XIX века был известен такой вид преступления, как «шлагбаум»: <sup>1</sup> на заблудившегося буржуа, прилично одетого гуляку нападали и сбрасывали его в крепостной ров. Но эти преступления имели то общее, что прежде их соучастниками были ночь, противозаконность и скрытность. Сегодня такая связь начинает разрушаться; «крутые» преступники орудуют среди бела дня в самом центре города, не заботясь о том, чтобы их не узнали, не обращая внимания ни на место, ни на время, словно бы стараясь участвовать в порнографии современной эпохи, которой присуще совершенное бесстыдство. В атмосфере всеобщей дестабилизации правонарушители теряют всякое чувство реальности; соображения опасности и благоразумия отходят на задний план, преступление опоясывается, но зато методы преступников ужесточаются.

Понятие насилия относится не только к уголовному миру. Менее зрелищной, менее сенсационной его стороной является суицид — явление, если хотите, более низкого порядка, но обусловленное той же логикой.

<sup>1</sup> Шевалье А. Цит. пр. С. 196.

Несомненно, для постмодернистского периода рост самоубийств нехарактерен, но известно, что в течение всего XIX века количество суицидов в Европе неуклонно увеличивалось. С 1826 по 1899 г. во Франции оно выросло в пять раз: с 5,6 до 23 на 100 000 населения. Накануне первой мировой войны это число составило уже 26,2. Как справедливо показал Дюркгейм, там, где распад личности достиг большого масштаба, число суицидов значительно возросло. Самоубийство, представлявшее собой в первобытном или варварском обществе акт социальной интеграции, который, по существу, предписывался общественным кодексом чести, в индивидуалистическом обществе стало «эгоистическим» поступком, что, по мнению Дюркгейма, — явная патология, <sup>1</sup> правда, неизбежная и обусловленная не столько характером современного общества, сколько конкретными условиями, в которых оно возникло.

Кривая самоубийств могла бы, на первый взгляд, подтвердить «оптимизм» Дюркгейма, поскольку их высокий уровень в 1926—1930 гг. снизился до 19,2 и даже до 15,4 в 1960-е. Опираясь на эти цифры, можно было бы утверждать, что современное общество «спокойно» и уравновешенно. <sup>2</sup> Однако известно, что это не так. Во Франции, при уровне 20 суицидов, начиная с 1977 г., снова наблюдается их значительный рост, количество их почти достигло уровня начала века или межвоенного периода. Помимо такого ухудшения об-

<sup>1</sup> Дюркгейм Э. Самоубийство (Durkheim A. Le Suicide. P.U.F. P. 413—424).

<sup>2</sup> Тогг Э. Безумец и пролетарий (Todd E. Le Fou et le prolétaire. Laffont, 1979). Эрве Ле Бра и Э. Тодд также пишут: «После нарушения привычных условий образ жизни восстанавливается, и индивид обретает свою целостность иным способом. Уровень самоубийств падает, потому что цивилизация сделала свое злое дело» (L'invention de la France. Laffont, Coll. «Pluriel», 1981. P. 296).

становки, возможно, предположительной в отношении смертности за счет самоубийств, отметим количество покушений на самоубийство, не приведших к смерти, которое вынуждает предположить суицидогенный характер нашего общества. Отмечая уменьшение случаев добровольного ухода из жизни, следует в то же время отметить значительный рост попыток самоубийства, причем во всех развитых странах. Подсчитано, что из каждых 5—9 попыток одна приводит к смерти: в Швеции ежегодно кончают жизнь самоубийством около 2000 человек, но попытку суицида совершают 20 000; в Соединенных Штатах совершают самоубийство 25 000, но безуспешно пытаются сделать это 200 000. Во Франции в 1980 г. произошло 10 500 суицидов, но попыток свести счеты с жизнью, вероятно, было около 100 000. Судя по всему, в XIX веке количество покушений на свою жизнь не могло сравниться с тем, которое совершается в наши дни. Прежде всего, потому что способы самоубийства, известные тогда, были более «эффективны»: петля, утопление, огнестрельное оружие до 1960 г. являлись тремя наиболее распространенными методами. Во-вторых, потому что уровень медицины был недостаточно высок, чтобы спасти покушавшихся на свою жизнь, и, наконец, потому что весьма значительную часть самоубийц составляли пожилые люди, то есть наиболее решительно настроенные на то, чтобы покончить счеты с жизнью. Учитывая беспрецедентный размах покушений на самоубийство и несмотря на сокращение количества суицидов, эпидемия самоубийств отнюдь не закончилась: в постмодернистском обществе, подчеркивая индивидуализм, видоизменяя его содержание в силу логики нарциссизма, усилилась тенденция к самоуничтожению, хотя изменилась его интенсивность. Эра нарциссов в большей степени способствует суицидам, чем эра авторитарная. Отнюдь не являясь непремен-

ным условием возникновения индивидуалистического общества, тенденция к увеличению числа самоубийств в конечном счете представляет собой его побочное явление.

Если разрыв между количеством покушений и фактическим числом самоубийств и увеличивается, то это объясняется успехами медицины в лечении острых отравлений, а также тем, что основным средством, к которому прибегают покушающиеся на свою жизнь, являются лекарственные препараты и яды. Если рассматривать общее количество актов суицида (включая покушения на суицид), то выясняется, что отравления ядом, лекарствами и газом теперь стоят на первом месте среди используемых методов: их применяют около 4/5 всех суицидантов. Суицид как бы платит дань слабому государственному строю: становясь все менее кровавым и мучительным, суицид, как и межличностные отношения, смягчается; насилие, направленное на самого себя, продолжает существовать, лишь методы ухода из жизни утрачивают свою эффективность.

Если количество покушений будет увеличиваться и впрямь, то «контингент» самоубийц помолодеет; с суицидами происходит то же, что и с опасной преступностью, где самые «крутые» преступники — это молодежь. В процессе персонализации вырабатывается тип личности, который все менее способен смотреть в глаза действительности. Таким людям свойственна особая незащищенность и ранимость. Подобные личности, особенно в молодости, не имеют нравственной и социальной опоры. Молодежь, прежде в известной мере защищенная от пагубного воздействия индивидуализма благодаря ее стабильному, авторитарному воспитанию и окружению, ныне в полной мере испытывает на себе разрушительное воздействие нарциссизма. Разочарованная, утратившая целостность и

уверенность в себе молодежь, страдающая от чрезмерной опеки и чувства одиночества, как следствие становится кандидатом в самоубийцы. В Америке молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет оканчивают жизнь самоубийством в два раза чаще, чем это было 10 лет назад, и в три — чем 20 лет тому назад. Количество суицидов уменьшается среди представителей тех возрастов, которые некогда были самыми опасными; однако оно не перестает расти среди более молодых: в США самоубийства уже стоят на втором месте после автомобильных аварий среди причин смертности у молодежи. Возможно, мы являемся свидетелями лишь начала этого процесса, судя по тому чудовищному размаху, который приняли суициды в Японии. Неслыханный факт: наибольшее количество смертей приходится на детей от 5 до 14 лет; начавшись с цифры в 56 человек в 1965 г., в 1975 г. оно достигло 100, а в 1980 г. — 265 человек.

С появлением барбитуратов и ростом неудавшихся покушений на самоубийство суицид как бы становится массовым явлением — рядовым и набившим оскомину, вроде депрессии или усталости. Сегодняшний суицид сопровождается неуверенностью: желание жить и желание умереть более не находятся в противоречии друг с другом, а меняются от одной крайности к другой почти мгновенно. Таким образом, некоторые из покушающихся на самоубийство поглощают содержание своей аптечки, чтобы тотчас же обратиться за медицинской помощью; суицид утрачивает свой роковой характер, перестает быть неотвратимой реальностью. Потенциальные самоубийцы, утратившие индивидуальную и социальную опору, могут поддаваться искушению и решиться на необдуманный поступок под влиянием создавшейся обстановки или же отказаться от него. Это ослабленное желание самоуничтожения — не что иное, как один из аспектов неонар-

циссизма, распад личности. Когда нарциссизм имеет решающее значение, суицид происходит скорее в результате депрессивной спонтанности, душевного срыва, чем как решительный и отчаянный шаг. Таким образом, как это ни парадоксально, суицид может совершиться даже тогда, когда его жертва не жалеет смерти. Это напоминает преступления среди соседей, которые убивают не столько из желания убить, сколько для того чтобы избавиться от опостылевшего человека. Индивид постмодернистского периода, может попытаться убить себя, не желая умирать, как это делает шпана, принимающаяся в остервенении палить неизвестно куда. Бывает, что некоторые пытаются свести счеты с жизнью из-за пустякового замечания; люди убивают себя с такой же легкостью, с какой покупают билет в кино. Шаг отчаяния под влиянием атмосферы равнодушия, обусловленного процессом персонализации.

### Индивидуализм и революция

Процесс индивидуализации, который сопровождается спадом агрессивности в межличностных отношениях, происходит в условиях невиданной, имеющей далеко идущие последствия враждебности общества по отношению к государству. В то самое время, когда отношения между людьми становятся «человечными», революционеры задумывают и пытаются осуществить свои планы, безответственно разжигая классовую борьбу с целью нарушить ход истории и разрушить государство. Цивилизационный процесс и революция происходят одновременно. В тоталитарных обществах, совершая насилие, люди хотя бы болтали о всемирном братстве. При всем их кровавом характере традиционные смуты и бунты не ставили своей задачей развалить всю структуру общества. Напро-

тив, в индивидуалистическом обществе именно его основы, содержание законов и сущность власти становятся объектами публичных дебатов, мишенями для нападок со стороны отдельных индивидов и целых классов. Начинается новая эра — эра социального насилия, которая отныне становится составным элементом истории, фактором видоизменения и взаимной адаптации общества и государства. Массовое насилие становится необходимо для их функционирования и для развития новых видов общества, причем классовая борьба позволила капитализму преодолеть кризисы и амортизировать хронические противоречия между производством и потреблением.

Революционное движение, как и классовая борьба, возведенная им в ранг главной ценности, невозможны без сопутствующего им феномена — индивидуалистического общества. Это относится как к его экономико-социальной организации, так и к идеалам. В тоталитарном или иерархическом обществе, то есть системах, где отдельные индивиды, имеющие второстепенное значение по сравнению с коллективом, не обладают никакой самостоятельностью, социальный строй, в который люди интегрированы, покоится на священном фундаменте и как таковой освобождается от революционного творчества. Для того чтобы революция стала исторической реальностью, необходимо, чтобы люди были разрознены, утратили традиционное чувство солидарности; необходимо, чтобы их отношение к вещам возобладаало над их отношением друг к другу, чтобы, наконец, верх взяла индивидуалистическая идеология, предоставляющая отдельной личности статус природного борца за свободу и равенство. Революция и классовая борьба предполагают существование социального и идеологического мира индивидуализма; отныне больше не существует ника-

кой организации, самой по себе, независимой от воли людей. Все, что связано с коллективом и его верховной ролью, которая прежде мешала насильно разрушить его устройство, утрачивает свою неприкосновенность. Отныне ни государство, ни общество не застрахованы от преобразовательного зуда политиков. Поскольку индивид больше не является средством для достижения некоей отдаленной цели, а считается и сам считает себя конечной целью всего, постольку социальные институты утрачивают свою сакральную ауру, все то, что обусловлено ненарушимой трансцендентностью, включено в гетерономию природы и в конечном счете оказывается подорванным социальным и идеологическим строем, центр которого находится не где-то в стороне, а центр этот — сам независимый индивид.<sup>1</sup>

В период своего триумфа однородное общество равных и свободных людей неразрывно связано с открытыми и жестоким конфликтом, обусловленным социальным устройством. Выполняя роль идеологии, которая отныне заменяет религию, сохраняя при этом абсолютный и страстный характер, первая фаза индивидуализма представляет собой эпоху кровавых революций и социальных битв. Освободившись от священных реликвий, индивидуалистическое общество позволяет своим членам полностью управлять братством людей, сталкивая их лбами в междоусобицах, зачастую преследуя свои интересы, но между тем они еще крепче цепляются за новые ценности, назвав их правами человека. На этом основании героическую фазу индивидуализма можно сравнить скорее с политизацией и мобилизацией масс вокруг этих ценностей,

<sup>1</sup> См.: Гоше М. Цит. пр. С. 111—114, а также предисловие к работе «О свободе у модернистов» (De la liberté chez les modernes. Lafont. Coll. «Plunel», 1980. P. 30—38).



чем с разумной опорой на сугубо частные интересы. Гипертрофия и антагонизм идеологий неразрывно связаны с индивидуалистическо-демократической эпохой. По сравнению с нашим временем эта фаза в известной степени зиждется на тоталитаризме при примате социума, выступая при этом в качестве элемента социальной дезорганизации, которую таил в себе принцип индивидуализма. Ему противодействовала неизменная и жесткая схема, аналогичная схеме дисциплинарного общества, предназначенная для того, чтобы нейтрализовать индивидуальный характер отдельных людей, сплотить их, даже если придется столкнуться между собой классы с присущими им ценностями.

Наступление индивидуалистической эпохи чревато появлением тотального насилия и возникновением общества, направленного против государства, одним из последствий чего становится кампания не менее жестоких репрессий со стороны государства по отношению к обществу. Террор, как новый вид правления с помощью массового насилия, бывает направлен не только против противников, но и против сторонников режима. Те же самые причины, которые позволили гражданскому обществу с помощью насилия разрушить прежний социальный и политический строй, сделал возможными беспрецедентные акты агрессии со стороны власти по отношению к обществу. Террор возник внутри новой идеологической конфигурации, порожденной принципом верховенства личности. Жесткие расправы, ссылки, судебные процессы — все это осуществляется от имени воли народа или под лозунгом освобождения пролетариата; террор осуществляется лишь как механизм демократического представительства, хотя и индивидуалистического толка, всех слоев общества, разумеется, для того чтобы осудить всяческие перегибы и силой восстановить при-

оритет всего коллектива. Если «революционную волю» нельзя объяснить объективными классовыми противоречиями, то стоит ли оправдывать Террор требованиями обстоятельств. Все дело в том, что государство, в соответствии с идеалами демократии, провозгласив себя неотъемлемой частью общества, может лишиться его легитимности, развернуть неслыханную кампанию репрессий против членов этого общества, не разбирая, кто прав, а кто виноват.<sup>1</sup> Хотя побочным явлением индивидуалистическо-демократической революции в конечном счете становится отказ от символов могущества государства и появление доброжелательной, милосердной власти-заступницы, следует помнить, что власть эта допускала установление чрезвычайно кровавой формы диктатуры, которую можно рассматривать как возврат к монархическим порядкам, осужденным современным строем, как своего рода компромисс между системой с присущей ей жестокостью и обезличенной демократической властью.

Великая эпоха революционного индивидуализма заканчивается. Ставший некогда фактором социальной войны, в настоящее время индивидуализм помогает покончить с идеологией классовой борьбы. В передовых странах Запада революционная эпоха осталась в прошлом, классовая борьба введена в рамки социальных институтов; отныне она не нарушает единого хода истории; революционные партии полностью выродились; на смену жестоким столкновениям приходит переговорный процесс. Вторая индивидуалистическая «революция», сопровождающая процесс персонализации, привела к массовому разочарованию в *res publica*

<sup>1</sup> См.: Лефор Кл. Один человек лишний (*Lefort Cl. Un homme en trop* // Ed. du Seuil, 1976. P. 50—54), а также Манен Б. Сен-Жюст, логика Террора (*Manin B. Saint-Just, la logique de la Terreur* // Libre, 1979. N 6).

и, в частности, в идеологии: на смену излишнему увлечению политикой пришло безразличие к системам, основанным на мудрствовании. С возникновением нарциссизма к идеологии с ее словопримирами относятся с опаской; все, что содержит элемент универсальности и исключительной оппозиционности, более не разрушает весьма терпимой и гибкой индивидуальности. Жесткий, дисциплинарный порядок стал несоместим с дестабилизацией и равнодушной гуманизацией. Процесс умиротворения охватил все общество, цивилизация социального конфликта в настоящее время развивается в цивилизацию межличностных отношений.

Даже последние кульбиты революции свидетельствуют об этом смягчении социальных конфликтов. Это касается и событий мая 1968 года. Открывшиеся дискуссии по поводу характера этого движения достаточно показательны: революция это была или хепенинг? Борьба классов или городской праздник? Кризис цивилизации или кавардак? Революция становится нерешительной, утрачивает свои характерные признаки. С одной стороны, май 1968 года будет навсегда занесен в анналы революционного и повстанческого движения: тут и баррикады, и жестокие стычки с силами правопорядка, и всеобщая забастовка. С другой стороны, движение это не ставило перед собой никаких глобальных политических и социальных целей. Май-68 — это спокойный бунт, при котором не было ни одного убитого, «революция» без революции, скорее движение информационного порядка, чем социальное столкновение. Майские события с их невероятно жаркими ночами не столько воспроизвели схему революций нового времени, явно вращающихся вокруг идейных приманок, сколько предвосхитили постмодернистскую революцию в сфере коммуникаций. Свообразие майских событий заключается в их удивительно

цивилизованном характере: тут и там вспыхивали дискуссии, на стенах появлялись граффити, везде множество газет, плакатов, листовок; информация была обеспечена на улицах, в аудиториях, жилых кварталах и на фабриках — там, где она обычно отсутствовала. Разумеется, все революции сопровождаются словоблудием, но эта революция-68 была лишена излишнего идеологического груза. Не было речи о захвате власти, никто не называл имена предателей, не разделял людей на хороших и плохих; не стеснясь в выражениях, требовали неограниченной свободы слова, большей информированности, спорили о том, чтобы «изменить жизнь», освободить индивида от тысячи ограничений, ежедневно висящих на нем тяжким грузом, о работе супермаркетов, о телевидении в университетах. Для мая-68, этой революции свободы слова, была характерна гибкая идеология — одновременно политическая и застольная; это была смесь классовой борьбы и либидо, марксизма и спонтанизма, политической критики и поэтической утопии. Разрядка, теоретическая дестандартизация и практика — все это составные части изоморфного движения и процесса «прохладной» персонализации. Май-68 и был персонализированной революцией, бунтом против репрессивного аппарата государства, против бюрократических шор и пут, несовместимых со свободным развитием и ростом личности. Сам революционный порядок стал гуманным, учитывались субъективные устремления, существование и условия жизни: на смену кровавой революции пришла «шумная» революция — многоплановая, представлявшая собой крутой переход от эпохи социальных и политических потрясений, где интересы коллектива перевешивают интересы отдельных лиц, к эпохе нарциссизма — апатичной, лишенной идеологического груза.

Если рассматривать их в отрыве от идеологической подоплеки, то бурные майские события могли даже

показаться пародией на подлинный терроризм, который, по сути, остается неотъемлемым элементом глубоко революционной модели, основанной на классовый борьбе, на авангардистских и политических механизмах, что объясняет ее радикальный разрыв с равнодушными и распущенными массами. Несмотря на свой «идейный» характер, как это ни парадоксально, терроризм не чужд логике нашего времени, жестким требованиям легитимности, с которых начинаются покушения, «процессы», похищения, утратившие всякий смысл, всякую связь с реальностью в силу революционного надувания щек и аутизма любителей групповщины. Являясь сам по себе выражением экстремизма, терроризм — это порнографическая репродукция насилия: идеологическая машина возбуждает саму себя, теряет всяческую опору; дестабилизация захватывает область исторического содержания, проявляется как жесткая разновидность насилия, как набивающий себе цену бездуховный максимализм — бледный призрак, высушенный идеологический остов.

Как уже отмечено, май-68 был двуликим — модернистским из-за его стремления походить на революцию, постмодернистским — из-за его стремления к удовлетворению своих желаний и потребности в информации, но также из-за своего непредсказуемого и необузданного характера. Это возможная модель грядущих социальных потрясений. По мере того как классовые противоречия будут улаживаться, тут и там будут происходить вспышки насилия, которые затухнут с той же быстротой, с какой появятся. Нынешние социальные беспорядки имеют общим то, что они зачастую не укладываются в диалектическую схему классовой борьбы, непременно возглавляемой организованным пролетариатом: в 60-е годы это были студенты; сегодня это молодые безработные, скватте-

ры, негры и выходцы с Ямайки — насилие приобретает маргинальный характер. Бунты, недавно вспыхнувшие в Лондоне, Бристоле, Ливерпуле, Брикстоне, свидетельствуют о возникновении нового облика насилия, дополнительной стадии в деидеологизации насилия, хотя некоторые из столкновений такого рода и носят расовый характер. Если анархическое движение шестидесятых еще носило утопический характер, опиралось на какие-то ценности, то в наши дни беспорядки, вспыхивающие в гетто, не имеют никаких исторических традиций и верны в этом принципам нарциссизма. Это явный бунт, вызванный безработицей, социальной пустотой. Разрушая сферу идеологии и личности, процесс персонализации выпустил на волю насилие, которое становится тем более жестоким, чем оно менее перспективно, по future,<sup>1</sup> с обликом новой преступности и наркозависимости. Эволюция жестоких социальных конфликтов похожа на эволюцию наркотиков: на смену галлюцинациям 60-х годов, которые были символом антикультуры и мятежа, пришла эпоха пошлой токсикомании, депрессии, лишенной всяких грез, глотания люмпен-амини всяких таблеток, нюханья лака для ногтей, керосина, клея, растворителей и прочих жидкостей все более молодыми токсикоманами. Остается лишь разбить голову какому-нибудь bobby<sup>2</sup> или пакистанцу, поджечь улицу или дом, ограбить магазин после очередной драки и накануне следующего бунта. Классовые беспорядки сменились насилием деклассированной молодежи, которая громит собственные кварталы; гетто охватывает пламя, словно кто-то хочет ускорить приход царства постмодернистской пустоты, в ярости уничтожить пустыню, которая иными

<sup>1</sup> Без будущего — англ.

<sup>2</sup> Полицейский — англ.

средствами завершает равнодушный процесс персонализации. И последний штрих деклассированного характера этого явления: насилие вступает в цикл устранения своих последствий; в соответствии с эпохой нарциссизма насилие утрачивает свою сущность в гиперреалистической кульминации без программы, без иллюзий — жесткое насилие разочарованных людей.